

ВРЕМЯ ШМЫ 5 1976

СРЕДИ НЕВЕРИЯ И СУЕТЫ,
В МИРЕ, ГДЕ ГРУБАЯ СИЛА И ЛОЖЬ
СТАНОВЯТСЯ НОРМОЙ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ,
МЫ ИСПОЛНЕННЫ ОДНОЙ ЛИШЬ ЦЕЛЬЮ -
ПОМОЧЬ ЧИТАТЕЛЮ
ЛУЧШЕ РАЗОБРАТЬСЯ
ВО ВРЕМЕНИ И В СЕБЕ

Виктор Некрасов

"Персональное дело
коммуниста Юфы"



Патер Элиас

"Сущность
еврейства"



Лев Тумерман

"Израиль:

Европа или Азия?"

Лидия Шатуновская

"Загадка одного ареста"

ВРЕМЯ и МЫ

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ.

№ 5 март 1976

Выходит один раз в месяц

СОДЕРЖАНИЕ

П Р О З А

Виктор Некрасов

"Персональное дело
коммуниста Юфы" 3

Борис Хазанов

"Глухой, неведомой тайгой" 52

П О Э З И Я

Леонид Аронзон

"Здесь я царствую,
здесь я один" 94

Савелий Гринберг

"Рельсы вразброд" 100

Валентина Синкевич

Из лирической тетради 104

Огден Нэш

Из новых переводов 107

ПУБЛИЦИСТИКА

Лев Тумерман

"Израиль: Европа
или Азия?" 109

ФИЛОСОФИЯ И РЕЛИГИЯ

Патер Элиас

"Сущность еврейства" 129

КРИТИКА

Наталья Рубинштейн
"Без псевдонимов
и без грима".....146

ИЗ ПРОШЛОГО

Фаина Баазова
"Прокаженные".....167

Лидия Шатуновская
"Загадка одного ареста" 206

Коротко об авторах 217

DIGEST OF 5 ISSUE.....219
OF "VREMIA I MI" ("TIME AND WE")

Главный редактор
Виктор Перельман

Редакционная коллегия:

Владимир Абрамсон	Михаил Калик
Фаина Баазова	Вадим Меникер
Георгий Бен	Борис Орлов (<i>зам. гл. редактора</i>)
Лия Владимировна	Наталья Рубинштейн
Егошуа А. Гильбоа	Йосеф Текоа
Илья Гольденфельд	Аарон Ярив
Михаил Занд	

Художник Лев Ларский
Корректор Нина Островская

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.



Все права на литературные произведения, опубликованные в журнале "Время и мы", принадлежат их авторам.

OCR и вычитка Давид Титиевский, декабрь 2009 г.
Библиотека Александра Белоусенко

ПРОЗА



Виктор НЕКРАСОВ

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ДЕЛО КОММУНИСТА ЮФЫ

Николай Александрович Баруздин, секретарь партии, организации крупного научно-исследовательского института, был растерян. Даже более чем растерян. Сегодня утром к нему пришел всегда тихий, незаметный, давно уже работающий в институте инженер отдела капитального строительства Абрам Лазаревич Юфа и попросил дать ему характеристику для получения паспорта и визы в Израиль.

Николай Александрович сначала даже не понял.

— Куда?

— В Израиль.

— В Израиль? — переспросил он.

— Да, в Израиль, у меня там сестра с детьми.

— Но, погодите, — Николай Александрович даже растерялся. — Я вас не понимаю. В туристскую поездку, что ли? Сейчас?

Нет, не в туристскую. Насовсем, — тихо ответил Абрам Лазаревич, вертя тонкими пальцами пресс-папье.

Воцарилось молчание. Потом Николай Александрович сказал:

— Зайдите ко мне завтра.

Абрам Лазаревич попрощался и ушел, беззвучно закрыв за собой дверь.

Первым делом Николай Александрович позвонил в райком. Ни первого, ни второго секретаря не было, оба на пленуме обкома. Значит, и там никого не застаете.

Что же делать? С кем посоветоваться? И о чем советовать? Старик явно выжил из ума.

Он стал припоминать, где и как встречался с Юфой. Да в общем-то нигде и никак. Работал он в институте лет пятнадцать, работал хорошо, жалоб никогда никаких на него не было, партвзносы платил аккуратно, занятий партучебы не пропускал, часто отмечался премиями. Один раз, правда, у него была какая-то стычка с Берестовым, замдиректора института, но, как потом выяснилось, правда оказалась на стороне Юфы, а не Берестова. Вот и все, что он о нем знает.

Весь день у Николая Александровича работа не ладилась. Приехала какая-то сирийская партийно-правительственная делегация, и надо было показывать лаборатории, а там, как назло, погасло электричество, и, сколько ни возились с пробками, оно так и не зажглось. Потом было совещание у директора, который, вернувшись в дурном настроении из ЦК, а оттуда он всегда приходил в дурном настроении, стал всех распекать, в том числе и Николая Александровича. Потом позвонила жена из дома с сообщением, что Женька получил двойку по математике, как будто это нельзя было сказать вечером, дома. Потом разболелся зуб, и никакой пирамидон не помогал. А в голове все сверлило: Юфа, Юфа, Юфа...

После совещания у директора он столкнулся в уборной с начальником отдела капстроительства. Стал его расспрашивать о Юфе.

— Абрам Лазаревич? Исполнительнейший из всех инженер. Аккуратен, точен, никогда ничего не удержи-

вает. За все пятнадцать лет работы ни разу не опоздал и, кажется, только раз был на бюллетене. Одним словом, образцовый работник. А что?

— Да ничего. Просто так. Потом поговорим.

Начальник отдела кадров — желчный и подозрительный Антипов — тоже ничего предосудительного сказать не мог.

— Работник как работник. В бумагах все чисто.

К концу дня Николай Александрович дозвонился наконец до секретаря райкома.

— Слушаю, — пробасил тот.

— Дело неотложное у меня, Василь Васильич.

— Такое уж неотложное?

— Очень даже.

— А до завтра не доживет? У меня сегодня билет в театр. Жена второй месяц тянет.

— Хотелось бы все-таки сегодня.

— Ну ладно уж, приходи.

Когда он зашел к нему, Василь Васильич сидел и листал "Огонек".

— ЧП, Василь Васильич.

— Какое там еще?

— Пришел ко мне один коммунист и характеристику в Израиль попросил.

— Куда, куда? — переспросил секретарь.

— В Израиль.

— В Израиль?

— В Израиль.

Василь Васильич побарабанил пальцами по столу.

— Он что, спятил?

Воцарилось молчание. Василь Васильич потер свое красное, оплывшее, все в оспинах лицо, попытался куда-то позвонить, не дозвонился, опять потер лицо и сказал: "Мда..." Потом еще раз безуспешно позвонил.

— Разбежались все, черти... — и посмотрел маленькими глазками на Николая Александровича. — А что он за тип?

- Тип как тип, ничего не скажешь.
- Воевал?
- Кажется, да.
- Сидел?
- По-моему, нет.
- Чего ж ему, гаду, нужно?

Николай Александрович пожал плечами.
Василь Васильич в третий раз набрал номер.

— Нету, — и выругался. — Ладно. Приходи завтра, подумаем. Вправим ему, гадюке, мозги. В Израиль ему, видите ли, надо. Тут ему плохо... Ладно, иди. Звякни с утра...

Они распрощались.

2

Абраму Лазаревичу в июле должно было исполниться шестьдесят. Значит, с июля он мог перейти на пенсию. Мог, но не собирался. Во-первых, не понимал, что он будет делать без работы. Во-вторых, после смерти жены в нем укрепилось желание уехать к сестре в Израиль. Мысль эта зародилась в нем еще после июня 67-го года, но тогда он об этом просто подумывал, как о чем-то несбыточном, сейчас же, оставшись один с сыном, решил вдруг — поеду...

Почему он так решил? Он и сам не мог бы ответить толком. Захотелось вот. Хотя в раннем детстве он и учился в уманском хедере и отец его регулярно ходил в синагогу, сам он никакой тяги к еврейской религии, как и вообще к религии, не испытывал. Учился потом в украинской профшколе, в институте. Еврейского языка почти не знал. Забыл. Друзья у него были и русские, и украинцы, и евреи. Кто из них кто — он даже не знал, в то время на это не обращали внимания. Потом воевал. В армии же вступил в партию. Был ранен и контужен. Контузия до сих пор дает себя знать. В полку к нему относились хорошо — служил он полковым инженером, —

никаких проявлений антисемитизма на себе не чувствовал. Почувствовал уже после войны, в 49-м году, в период так называемого космополитизма. Правда, и тут непосредственно его эта кампания не коснулась, но кое-кто из его друзей пострадал. Именно тогда в груди впервые что-то защемило. За что? Почему его стали выделять? В чем виноват Веня Любомирский, которого уволили с работы? В том, что у него какая-то тетка где-то в Америке? Ведь он никогда в жизни ее не видал, и родители с ней даже не переписывались. Живет, ну и пусть себе живет. Никому она не мешает. А вот, оказывается, мешает. А Гриша Моргулис? Угодил даже в лагерь. И тоже из-за тетки или дяди. Но те хоть писали, приглашали. И это показалось кому-то подозрительным — связь с заграницей. У всех на устах было слово "Джойнт" — страшное, пугающее, непонятное. Затем "Почта Лидии Тимашук", дело врачей... Становилось все страшней и страшней.

Потом как будто спало. Но "пятая графа" все же осталась, и соседского Сашку не приняли в институт, хотя он набрал 14 баллов при 13 необходимых. Из правительства исчезли все евреи, один только Дымшиц остался, и Михоэлса и Зускина не вернешь, и не знаешь, что ответить десятилетнему Борьке, когда тот со слезами на глазах возвращается из школы и спрашивает тебя: "Что такое жидовская морда?"

И все же стало легче. На работе все спокойно.

И вот на тебе — нагрянул 67-й год, с шестидневной своей войной. И невольно, само собой как-то получилось, в войне этой он принял сторону не арабов, а израильтян. Газеты не писали об этом, они писали противоположное, но мало-мальски здравомыслящий человек понимал, что агрессором в этой войне был именно Насер. Требование вывода войск ООН из зоны Суэцкого канала, блокада Акабского залива, истерические антиеврейские манифестации в Каире: "Сотрем с лица земли всех евреев!" — все как будто так ясно. И победу двухмиллионного израильского народа над ста миллионами арабов,

которые просто не хотели воевать, он, Абрам Лазаревич, невольно считал победой своего народа, своей победой. И ему захотелось разделить нелегкую судьбу своего народа.

Вот тут-то и стали ему объяснять, что он ошибается. По радио, в газетах, в письмах знатных фрезеровщиков, балерин и Героев Советского Союза ему доказывали, что Родина его — Советский Союз, а все эти Моше Даяны и Голды Меир — сионисты, агрессоры и оккупанты. И никакого "своего" народа нет. Есть граждане Советского Союза еврейской национальности, и им предоставлены те же права, что и другим национальностям. Право на труд, отдых, образование, обеспеченную старость. Чего ж ему еще надо?

Чего? Очень немногого. Свободы самому принимать решение. Он никого: ни партию, ни правительство — ни в чем не обвиняет, просто он хочет получить разрешение на поездку в Израиль. Для чего? Это его личное дело.

Там у него сестра, которую он не видел сорок с чем-то лет, там племянники, там маленький, смелый народ, объединившийся, чтобы защищать свое право на существование, на свою свободу. Вот он и хочет быть с этим народом. Кто ему может запретить? Какие на это есть основания? Воевать он ни с кем не собирается: ни с арабами, ни с турками, — будет работать себе тихо в каком-нибудь кибуце, возделывать землю, пасти овец и, если надо, платить взносы в партию — Микуниса или Вильнера, — это уже другой вопрос. Одним словом, он просит разрешения на выезд.

— Ну, ты просто ненормальный, — твердили ему друзья. — Неужели ты не понимаешь, что это чистой воды антисоветская акция, что никто такого разрешения тебе не даст? Наконец, если почему-либо и пустят тебя, то никогда не выпустят Борьку — ему через четыре года в армию идти. Не к Моше же Даяну!

Все это он понимал. Но он понимал и другое. Что ему просто все это надоело. Надоело читать в газетах

письма Плисецкой и Натана Рыбака, смотреть по телевизору, как опускает глаза на пресс-конференции Аркадий Райкин, слушать выступления какого-то доцента Фридмана в Бабьем Яру о том, что кровь жертв Бабьего Яра на руках сионистов. Зачем ему все это? Его убеждают, что он живет в свободной стране, в самой свободной из всех — вот пусть ему и дают свободу выбирать. Он глуп? Может быть. Он не спорит. А Борька как считает, прав его отец или нет?

Борька молчал. Ему минуло пятнадцать лет, он уже брился и начал даже курить, но политикой еще не интересовался. Он понимал, что отец затевает что-то не одобряемое его друзьями, но, поскольку авторитет отца для него был непререкаем, он не говорил ни да, ни нет, просто молчал.

Друзья махнули рукой. Что с ним поделаешь? С тех пор как умерла жена, с ним просто невозможно разговаривать. И, будучи людьми осторожными, свели разговоры до минимума, во всяком случае, на эту тему. Пускай делает что хочет — не ребенок.

3

Николай Александрович всю ночь не спал. Вертелся с боку на бок, пил воду, принимал димедрол, элениум.

Ну что ему с этим идиотским Юфой делать, как поступить? Ну хорошо, Василь Васильич знает и скажет, но все эти беседы, собрания проводить ему, а не первому секретарю. Характеристика... Какую к черту характеристику можно дать? О чем? Куда? А Женька, этот двадцатилетний балбес, только смеется. "Не волнуйся, папочка, коммунисты тебе подскажут. Один за другим будут брать слово, вылезать на трибуну и клеймить этого твоего Юфу за политическую близорукость, отсутствие четких партийных критериев, беспринципность.

Ну и еще в двадцати семи смертных грехах. Ты мне скажешь, когда будет собрание? Обязательно пойду".

Ну что с этими мальчишками делать? Растут, над всем иронизируют: "Еще Маркс сказал: все подвергай сомнению", слушают всякие там Би-Би-Си и "Голоса", и какой-то там Анатолий Максимович Гольдберг для них больший авторитет, чем собственный отец. Вчера вот, за чаем, сидят с этим его Эдиком из политехнического и рассуждают: "Восточная Пруссия, или, как ее там теперь, Калининградская область, — оккупированная зона или нет? А Силезия, Штеттин? Огнем и мечом завоеваны, ведь так? Даже Брандт и тот признал границу по Одере-Нейсе, виноват, Одер-Ниссе. Почему же тогда Газу и Синайский полуостров мы не признаем? Где же логика? А Закарпатье, Советская Буковина? Ведь в Ужгороде даже по-украински никто не говорит, только по-чешски, по-венгерски. Нет, папуля, с логикой у вас далеко не все в порядке. Впрочем, если мне не изменяет память, именно по этой дисциплине у Владимира Ильича была четверка, а не пятерка, единственная в дипломе".

Ну как с ним спорить? Все знает лучше тебя. О чем с ним ни заговоришь, только поучает или поражается твоей некомпетентности. "Как, неужели ты не знаешь, что все западные компартии, все "Юманите", "Унита", "Морнинг Стар" приветствовали Солженицына с Нобелевской премией. В один голос. Выдающийся, мол, писатель, продолжатель великих, гуманистических традиций русской литературы. Неужели в ваших газетах ничего об этом не писали?" В ваших газетах... Как вам это понравится? Ну что с ним делать, что?

Николай Александрович тянулся за папиросой, чиркал спичкой — четвертый час уже, будь он неладен, — и, повернувшись на другой бок, пытался считать до ста.

К десяти Николай Александрович был уже в райкоме. Василь Васильич сидел хмурый, недовольный.

— Ну что ж, надо партсобрание собирать, — мрачно сказал он. — Я тут уже кое с кем проконсультировался.

— Ну и...?

— Что — ну и? Собрать и все. Пусть коммунисты выскажутся.

— О чем?

— Как о чем? Какой ты бестолковый, ей-Богу. Сам говоришь, ЧП — значит, обсудить надо.

— Ну, обсудим, а дальше? Как с этой характеристикой быть?

— Какая там к черту характеристика! — рассердился вдруг Василь Васильич. — Ударить крепко надо, чтоб не повадно было. С такими вещами не шутят. Вызови его перед собранием, поговори на бюро, объясни этому олуху, что коммунисты так не делают. Учить мне тебя, что ли?

Николай Александрович молчал.

— Что молчишь? Не ясно, что ли?

— Ясно то ясно...

— Ну а если ясно, то действуй. Доложишь мне потом. Если надо, сам на собрание пойду. Или второго пошлю. Николай Александрович ушел.

Высокий, плечистый, на вид такой уверенный, спокойный, с медалью 100-летия со дня рождения Ленина, он шел и, равнодушно поглядывая на прохожих, мучительно думал, какое же принять решение. Исключить, что ли? Или строгий выговор? Нужно же было старику всю эту историю затевать! Дожил до пенсии — ну и уходи подобру-поздорову на покой, если не хочешь работать. Или работай, если не хочешь выходить на пенсию. Так нет — Израиль ему понадобился. Свихнулся совсем!

Человек по натуре не злой, даже мягкий, Николай Александрович больше всего в жизни боялся каких-либо осложнений. Решения принимать ему тоже было трудно. Особенно, крутые. По тону Василь Васильича он понял, что с Юфой надо быть жестким, а этого он тоже не умел.

Был ли он антисемитом? Пожалуй, нет. Но, как дисциплинированный член партии, он верил, что определенные ограничительные меры по отношению к евреям, очевид-

но, не зря существуют. Народ они энергичный, напористый, сметливый, устраиваться умеют, вот и надо их как-то сдерживать. Его нисколько не удивляло и не волновало, что евреев не допускали к дипломатической и руководящей партийной работе, что детей их с выбором принимают в институты. Так надо, что поделаешь. Им наверху виднее. Вот если б еще сионисты не раздували кампанию, все было бы спокойнее. Впрочем, тут Николаю Александровичу не все было ясно. В арабо-израильской войне он, хотя и поддерживал на словах арабов, понимал, что не все ладно, что деньги и оружие, которые мы им дали, валяются в бездонную пропасть и что денежки эти и танки они берут у нас, коммунистов, а своих коммунистов сажают. Одним словом, неразбериха какая-то.

Придя в институт, Николай Александрович хотел собрать партбюро, но из пятерых на месте оказалось только двое, поэтому пришлось назначить на завтра.

Вернувшись домой, сразу же попал под обстрел Женьки.

— Ну, как, пахан, дела?

— Какие дела? — не понял отец.

— Да с израильтянином этим твоим?

— Что надо, то и будем делать, — уклончиво сказал Николай Александрович.

— А что надо?

— Не лезь в дела, которые тебя не касаются!

— Интересно, почему это не касаются?

— Потому что не касаются.

— Логичный ответ, ничего не скажешь.

Николай Александрович ничего не ответил.

— Исключать, что ли, будете? — не унимался Женька.

— Посмотрим... — все так же уклончиво сказал Николай Александрович.

— На что посмотрим?

— Что скажут коммунисты.

— Что скажут... Что им скажут, то и они скажут. — Женька иронически-испытующе посмотрел на отца. — В чем же его преступление?

— Какое там преступление, — Николай Александрович стал раздражаться. — Неужели тебе не понятно?

— Нет, не понятно.

— Не понятно, что гражданин Советского Союза, да еще коммунист, — делая ударение на каждом слове, сказал Николай Александрович, — уезжая в капиталистическую страну, да еще такую, как Израиль, наносит тем самым оскорбление, делает вызов всем нам — и тебе в том числе?

— Какой же это вызов? В декларации прав человека, которая, надеюсь, тебе известна и которую подписал Советский Союз, черным по белому написано, что всякий человек может жить там, где он хочет. Какое же тут оскорбление?

— Не говори глупостей.

— Ай, папа, папа, зачем так? Скажи еще, что он изменник Родины.

— Да, если хочешь. Родина его здесь, а не там, и она никогда не простит ему... В Израиль ему, видите ли, надо, тут ему плохо.

— А может, и плохо. Откуда ты знаешь? Вот Сомерсет Моэм, например, английский писатель, подданный Британской империи, захотел жить и жил всю жизнь во Франции, на Лазурном берегу — ему там больше нравилось. Что ж, по-твоему, он тоже изменник Родины? Пикассо живет во Франции, в Испанию ездит только на корриды. Хемингуэй, наконец, жил на Кубе, враждебной США Кубе...

— При чем тут Хемингуэй? И вообще, отстань, у меня голова болит!

Женька свистнул и комически пожал плечами.

— Виноват, не буду. Дать тебе пирамидончику?

— Спасибо, не надо.

На этом разговор окончился.

Членами партбюро были: Никифоров, инженер, Абашидзе, тоже инженер, начальник отдела кадров Антипов, директор института — он сейчас был в отъезде, — Кошеваров, и он — Николай Александрович.

Никифоров был молод и интересовался больше своими личными, довольно запутанными делами, чем партийными. Абашидзе через неделю должен был идти в отпуск и всем своим существом находился в Тбилиси. У Антипова со вчерашнего дня повысилась давление, и он все время щупал свой пульс. Директора не было, и получилось так, что принимать решение и вносить предложение должен был он, Николай Александрович.

Коллебаясь, побаиваясь, что, может быть, слишком мягко обходится с Юфой, и в то же время боясь перегнуть палку — партвызысканий у того до сих пор не было, — он предложил вынести строгий выговор с предупреждением за политическую близорукость и беспринципность. Предложение, против его ожидания, было принято единогласно, хотя Антипов все же сказал, что таких типов надо просто гнать, но на этот раз, так и быть уж, учитывая, что старик воевал и т. д., можно ограничиться строга-чом.

На этом и разошлись. У Николая Александровича немного отлегло от сердца. Пронесло.

Но впереди было партсоборание.

Назначено оно было на четверг, на шесть часов вечера.

Оставшиеся до четверга два дня Николай Александрович был сумрачен и неразговорчив. По мере возможности избегал Женьки, который поглядывал на него иронически и без всякого сочувствия. Вопросов тот не задавал, но один раз, между делом, сказал по какому-то поводу матери: "Не тревожь отца, он определяет и никак не может определить свою послезавтрашнюю позицию". Мать промолчала, он тоже.

Но наступил наконец четверг. Шесть часов.

Из райкома пришел второй секретарь Крутилин, человек ограниченный, самоуверенный, любивший поговорить и произносивший слова "империализм" и "капитализм" с мягким знаком после "з" — это осталось у него еще от Хрущева.

Народу собралось довольно много. Устроились в кабинете замдиректора Иннокентия Игнатьевича Игнатьева. Перед началом он подошел к Николаю Александровичу и доверительно сказал, что беседовал сегодня по телефону с директором и что тот очень жалеет, что не может быть на собрании, что этих "французов" он хорошо знает, от них можно ждать чего угодно и вообще цацкаться с ними нечего.

— Как вы понимаете это выражение? — поинтересовался он, внимательно глядя Николаю Александровичу в глаза.

— Ну как... Не цацкаться.

— То есть?

Николай Александрович уклончиво сказал:

— Вот послушаем коммунистов.

Иннокентий Игнатьевич отошел неудовлетворенный.

— Итак, — начал Николай Александрович, заняв свое место за громадным замдиректорским столом, — на повестке дня один вопрос: персональное дело коммуниста Юфы Абрама Лазаревича.

Абрам Лазаревич сидел рядом, маленький, грустный, в поношенном пиджачке со скромной орденской планочкой на груди. На коленях у него была папка и лист бумаги.

— Есть какие-нибудь другие предложения?

Их не оказалось. Избрали президиум из трех человек и секретаря, как всегда, машинистку Бронечку — пышную хорошенькую блондиночку.

Началось изложение дела.

Волнуясь, поэтому часто запинаясь и злоупотребляя буквой "э", Николай Александрович сказал, что ему,

как секретарю партбюро, было вручено коммунистом Юфой А. Л. заявление (он вручил его — лаконичное, из трех строчек) с просьбой выдать ему характеристику на предмет выезда его с сыном в Израиль.

Воцарилось молчание, самое тяжелое из всех молчаний, когда каждый соображает, говорить ему или нет, и если да, то когда и что именно.

Абрам Лазаревич исподлобья оглядел всех своим печальным иудейским взглядом.

Вот сидит во втором ряду Саша Котеленец. Они с ним когда-то вместе учились. Он, Юфа, помогал ему кончать проект кинотеатра на 300 мест, наводил тушью планы. Вроде как дружили. А рядом с ним всем всегда интересующийся Борис Григорьевич, его сосед по столу. "Ну, что они вчера передавали?" — спрашивает он каждое утро, оглядываясь по сторонам. Только сегодня он ничего не спрашивал, знал уже о партсобрании. А за ним первый преферансист института, главный говорун на всех собраниях Шапиро. Когда принимают очередную резолюцию и все умирают от усталости, он обязательно внесет какую-нибудь поправку, вроде вместо "выражает пожелание" — "выражает настойчивое пожелание", и опять в двадцатый раз надо голосовать. Долговязый, лысеющий, с "внутренним займом" на голове, Ходоров известен только тем, что на собраниях ему поручают читать закрытые письма и резолюции — у него мерзкий, громкий, в коридоре слышный голос, и вот все же читает закрытые письма и очень этим гордится. А Черткову всегда доверяют выдвигать кандидатуры. Сергей Никитич — кругленький, лоснящийся, очень смешливый, любитель рассказывать анекдоты. Причем смеется всегда раньше слушателя. Плоская как доска, похожая на гувернантку Раиса Прокофьевна, несмотря на свой возраст, то и дело удлиняет или укорачивает свои юбки и очень любит на эту тему поговорить. И всех их, или почти всех, он знает, знает, что у кого дома, у кого какое давление, когда был последний спазм и какая темпера-

тура вчера была у Вадика, с каким счетом кончился хоккейный матч с Чехословакией и читали ли вы в воскресном "Вечернем Киеве" о жуликах из ателье мод? И все они, все эти Саши Котеленцы, Борисы Григорьевичи, Шапиро, Ходоровы, плоские как доска, Раисы Прокофьевны, как будто неплохо к нему относятся, часто советуются, одалживают до полочки деньги, а ко дню его пятидесятилетия преподнесли громадный торт с надписью из крема "Дорогому юбиляру" и с цифрой "50".

И вот всем им надо сейчас говорить или слушать и молчать, что немногим легче.

— Есть у кого вопросы? — послышался голос Николая Александровича.

Опять молчание — тягостное, предгрозовое. От первого вопроса, первого слова многое зависит. Не так от вопроса, конечно, — как от первого слова, но и от вопроса, от цели, с которой он поставлен. От его интонации тоже в какой-то степени зависит дальнейший ход всего.

На этот раз после несколько затянувшейся паузы, дважды перебиваемой баруздинскими "Ну так кто же?", задал его райкомовец.

— С какой целью вы хотите ехать в Израиль? — спросил он, глядя широко расставленными, немигающими глазами на Абрама Лазаревича.

Тот тихо ответил:

— Без всякой цели. Просто хочу там жить.

— В Израиле?

— Да, в Израиле.

— Под крылышком у Голды Меир и всяких там Моше Даянов?

— Ни под каким крылышком, — так же тихо сказал Абрам Лазаревич, — я их никого не знаю. Просто хочу жить в Израиле.

— Ясно, — с видом, как будто он уже разоблачил шпиона, сказал райкомовец и что-то записал.

Потом было еще несколько вопросов. Где он родился, где его родители, есть ли у него родственники за грани-

цей, когда и где вступил в партию, был ли на фронте и где именно. Этот последний, явно сочувственный, был задан Сашей Котеленцом. Был еще один. Спросил никогда не пускающий на ветер слова инженер из техотдела Вилюйцев — кстати, три дня тому назад он одолжил у Абрама Лазаревича до понедельника пять рублей, — спросил, какую политическую оценку он, Юфа, может дать своему поступку.

Абрам Лазаревич кратко ответил:

— Никакой.

На этом вопросы кончились.

Взял слово — то самое, направляющее, задающее тон секретаря райкома. Он говорил долго, минут двадцать. Начав с оценки ближневосточных событий, он разоблачил американо-израильский сговор, направленный на дальнейшее разжигание войны, дал яркую характеристику грязным сионистским провокациям, гневно осудил недостойные происки американских лакеев госпожи Меир и небезызвестного Моше Даяна и, тем самым заложив фундамент, перешел к сути дела, к позорящему званию коммуниста решению Юфы попытаться изменить своей Родине.

— Вы, гражданин Юфа (он уже не говорил "товарищ"), своим позорным поступком втоптали в грязь самое чистое, самое святое, что у нас есть, — свою партийную совесть. Вы, которого так любовно воспитала Родина, плюнули ей в самую душу. Плюнули в лицо партии. За каких-нибудь жалких тридцать сребреников вы продали свою душу сионистским экстремистам, ползаете перед ними на коленях и выторговываете себе жалкий кусок каравая на чужом столе. Вы гадите в собственное гнездо. Вольно или невольно превратились в оружие хватающихся за соломинку агентов империализма (с мягким знаком), всяких там раввинов Кахане и прочих молодчиков антисоветского, псевдосионистского отребья...

Абрам Лазаревич, склонив голову, слушал все это и почему-то думал не о сути сказанного, а пытался уяснить

себе, кто, когда, за что и как вручал ему тридцать сребреников, какой кусок каравая он выторговывает, за какую соломинку хватаются агенты империализма и зачем им это вообще надо, и почему молодчики из отребья названы псевдосионистскими. Все это у него крутилось в голове, всплывая и куда-то оседая, а сама суть, страшная, пугающая, как-то не доходила до сознания, проходила мимо со всеми своими плевками, душами и гнездами.

— Не место таким людям в рядах нашей партии! Не место им на нашей земле, под нашим солнцем — ярким, сияющим, зовущим на новые дела, на новые вдохновенные подвиги!

Так закончил свою речь секретарь райкома и, окинув, не глядя на Юфу, весь зал хозяйским, дающим понять, как надо себя вести, взглядом, сел на свое место.

"Да, строгачом здесь не отделаешься", — тревожно подумал Николай Александрович и невольно скосил глаза в сторону секретаря райкома, словно ища у него поддержки. Тот поймал косой этот взгляд и негромко, но так, чтоб президиум слышал, сказал:

— Ясно теперь?

Николай Александрович молча кивнул головой.

После секретаря выступило еще человек десять-двадцать. Говорили не сходя со своих мест, кто погромче, кто потише, но в общем-то одно и то же. Все говорили о том, что Родина и партия его вскормили, дали образование, потратили на него деньги, холили и лелеяли, а он, неблагодарный, позарился на тридцать сребреников (этих сребреников не упустил никто, а кто-то сказал даже "триста"), и этим превратил себя во внутреннего эмигранта (или отщепенца, ренегата, ревизиониста — тут были разные варианты), и тем самым поставил себя в положение человека, не имеющего права на Родину — она с презрением изгоняет, выдворяет его из своих пределов.

Абрам Лазаревич слушал, рисуя что-то на лежавшей у него на коленях бумаге, и удивлялся не столько тому,

что говорили (хотя думал, что это будет менее цветисто), а тому, кто говорил. О "выдворяющей его Родине" сказал не кто иной, как его партнер по преферансу Шапиро, утверждавший, что говорит он, как "полноправный гражданин Советского Союза еврейской национальности, и говорит от имени всех трудящихся евреев великого нерасторжимого братства народов, именуемого Союзом Советских Социалистических республик!" (тут ему даже зааплодировали) . А Виллойцев, тот самый, что взял у него до понедельника пять рублей (интересно, как он их будет отдавать и отдаст ли вообще), сказал, что, если бы гражданин Юфа (с легкой руки секретаря райкома все его стали именовать именно так) протянул ему руку мира и раскаяния, он не пожал бы ее, так как ему было бы противно. Борис же Григорьевич — сосед по столу, интересовавшийся по утрам "Что же вчера передавали?" — вылив ушат помоев на голову небезызвестного горе-премьер-министра из Тель-Авива ("Кто вам дал право, госпожа Меир?.."), вспомнив сорок девятый год, заклеил Юфу как "вконец зарвавшегося пигмея, безродного космополита". Но больше всего было смотреть на растерянного, со срывающимся голосом Сашу Котеленца. Он не произнес ни одного дурного или позорящего его слова, никого ни к чему не призывал, никого не выдворял, "гражданина Юфу" называл по имени-отчеству, упомянул о его боевом пути от Волги до Одера, но слишком много у него было "хотя", "я, конечно, понимаю", "не мне судить" и т. д. Кто-то из зала даже выкрикнул: "Не юли! Говори прямо! За или против?!"

Вообще Абрама Лазаревича больше всего удивлял, даже не удивлял, а огорчал тот темперамент, та горячность, с которой выступали те, от кого он меньше всего этого ожидал . А не ожидал он этого от Шапиро, от Бориса Григорьевича, от того же Виллойцева, который обычно взвешивал каждое свое слово, боясь, что когда-нибудь, на Страшном Суде, ему все припомнится. Огор-

чало это, огорчало и другое, противоположное — выступления, затверженные, как урок, краткие монотонные вереницы слов, все эти Партия, Правительство, долг, Родина... Произносили их, опустив глаза, держась за спинку стула и так тихо, что иногда просто не было слышно...

И вдруг — Абраму Лазаревичу показалось, что он ослышался, — раздалось откуда-то из глубины зала совсем другие слова. Молодой, лет двадцати, не больше, парнишка — Абрам Лазаревич видел его впервые, — загорелый, белозубый, похожий на волейболиста, попросил слова и, когда, пошептавшись в президиуме меж собой (в зале уже раздавались призывы прекратить прения), его ему дали, заговорил взволнованным прерывающимся голосом.

— Я не понимаю, что происходит, товарищи... Ей-Богу, не понимаю... Вот сидит на стуле товарищ, я его не знаю, в первый раз вижу, слова ему не дают, а говорят о нем, как о разоблаченном уже шпионе. И Родине, мол, изменяет, и сребреники там какие-то, и еще что-то, еще что-то...

Голос из зала:

— В порядке ведения собрания — как фамилия оратора и откуда он?

— Фамилия Кудрявцев, — возбужденно ероша волосы, ответил парень. — А откуда? Слесарь я. Работаю недавно, второй месяц только, кандидат партии. Устраивает?.. Так о чем это я? Да, так вот, не понимаю я... Сидит перед вами вот человек, воевал, тут об этом даже говорили, и что ранен был, тоже говорили. Человек немолодой, значит, и работал он немало, может, и отработал что на него потратили, и вот этот самый человек хочет куда-то уехать...

— Не куда-то, а в Израиль! — перебивают с места.

— Ну пусть в Израиль, не все ли равно. Ну и пусть едет. Зачем его держать? Не хочет с нами? Не надо. Зачем хватать за фалды? Может, у него там сестра, брат, сват, родственники какие, тут уже спрашивали. Пусть

и едет к ним. Пусть из нашей компартии в ихнюю переходит, есть у них там, кажется. А тут сразу — и изменник, и такой, и сякой, и империализм, и капитализм, и черт-те что... Слова все страшные, прилепят — не сорвешь. Нехорошо это, ей-Богу... — Он опять провел рукой по своим вихрам. — Вот такое мое мнение. И вообще, надо дать человеку слово...

Парень гулко вздохнул и весь красный сел на свое место.

В зале поднялся шум. Кто-то крикнул "Перерыв!", кто-то предложил дать слово Юфе, но взял его, опять-таки в порядке ведения собрания, так сказать, реплики, Иннокентий Игнатьевич, замдиректора.

Изящный, интеллигентный, в плотном обтягивающем его светло-сером пиджачке, он встал и сказал своим хорошо поставленным, приятно модулирующим голосом:

— Хочу спросить у нашего молодого, столь темпераментно выступившего товарища. Хочу спросить его, неужели он не понимает, что, отпуская "немало поработавшего" у нас инженера Юфу за границу, мы отпускаем не просто инженера, а человека, много знающего, много выдавшего, много ездившего по заводам, по шахтам и выдавшего там кое-что, что, может быть, и не всякому положено видеть. Понимаете ли вы это или нет? Что, может быть, за какие-нибудь интересующие кое-кого сведения инженеру Юфе, если не все тридцать, то пару серебряников в виде долларов и отвалят? А? Что вы на это скажете?

Парень резко выбросил вверх руку:

— Скажу!

Но сказать ему не дали. Объяснили перерыв.

5

Коле Кудрявцеву, "нашему молодому, столь решительно выступившему товарищу", было года двадцать

два-двадцать три, не больше. Работал он в институте недавно, до этого служил в армии. Богатство было его невелико — неотягощенная мыслями и заботами голова, упругие, молодые мышцы, миловидная Леночка, студентка какого-то техникума, койка в общежитии, где-то в деревне родители и умение, и желание видеть в жизни только хорошее и веселое. Пил в меру, в дни полочки, книгами увлекался тоже в меру, когда вечером делать нечего и нет хоккея или футбола по телевизору, взносы куда надо платил аккуратно, в газетах читал последнюю страницу и всем остальным предпочитал "Вечерку" и "Советский спорт". Одним словом, парень как парень. Но была у него и еще одна черта, возможно, и выделяющая его среди других, — он видел в людях больше хорошего, чем дурного. Ему всегда казалось, что если человек и сделал что-нибудь дурное, то по ошибке, и сам это понимает или поймет. "Ну бывает, с кем не случается", — говорил он, разнимая повздоривших друзей, "иди ложись, утром разберемся". И укладывал и того, и другого, а утром приносил по бутылке пива. Товарищи его поэтому любили, а так как он к тому же был сильнее многих в вышеупомянутых конфликтах, участники их обычно мирно расходились по койкам. Кто-то в шутку его назвал "доктором Яррингом", и с тех пор эта кличка, превратившаяся просто в "доктора", сохранилась за ним навсегда.

И еще одним качеством наделен был Коля Кудрявцев. В нем мало развиты были так называемые сдерживающие центры. Одни называли это "лезть очертя голову", другие убеждали "не лезть поперек батьки", третьи советовали просчитать сначала до десяти, и, наконец, самые разумные говорили: "Не суйся, куда тебя не просят, знай сверчок свой шесток".

Но Коля ни сверчком, ни шестком его интересоваться не хотел, дольше восьми досчитывать не успевал и в пекло лез всегда очертя голову раньше батьки. Что будет, то будет...

Так случилось и на собрании. Войной на Ближнем Востоке он особенно не интересовался, знал только, что арабы воевать не могут и не умеют, а евреи, наоборот, умеют, и что их в десять раз меньше, и территория у них с гулькин нос — вот и все. Поэтому все касаемое этой войны и самого Израиля он в общем-то пропустил мимо ушей. Нет, он просто видел, как все набросились на одного маленького, молчащего, пожилого человека, а тот сидит себе съжившись и что-то записывает. И это его возмутило.

Еще больше возмутило то, что во время перерыва к нему подошли двое из президиума и стали выговаривать за его поведение. Один высокий, плечистый — он знал, что это секретарь партбюро, — другой тот, который первым говорил.

— Кто тебя надоумил так выступать? — допытывался он. — Не знаешь же в чем дело, не лезь. Сначала послушай, разберись хорошенько, кто да что, тогда и бери слово. А то с бухты-барухты — бьют, мол, лежачих.

— А что, не бьют? — парировал Николай.

— Значит, надо. И мало еще били.

— Ну и бейте, а я не собираюсь.

— То есть, как это не собираешься? Ты с какого года в партии?

— Я кандидат. В армии еще вступил, в прошлом году.

— Так ты же дитя, ни в чем еще не разбираешься. Молоко еще вон на губах. А еще туда же со своим мнением. Мнение старших ему, видите ли, не интересно. Свое, мол, имею. Вся рота идет не в ногу, а я в ногу. Уши надо иметь и вот тут чтоб кое-что ворочалось. Ясно?

Сказано это было, если не угрожающе, то, во всяком случае, достаточно директивно.

— Кстати, — добавил он, — ты по собственной инициативе выступал? Или кое с кем беседу имел? Никто к тебе до собрания не подходил?

— Никто.

— С Юфой не знаком?

— Первый раз вижу. Я ж говорил об этом.

— И вообще, — вставил секретарь партбюро, — когда собираешься выступать, не обходи президиум, там тебе всегда помогут.

— Ладно уж, — буркнул Николай, — посмотрим, — и закурил.

Дальнейшее убедило его, что правда, как ни пытались они это доказать, вовсе не на стороне тех двоих. Точнее, что понимают ее он и они по-разному. Для них правда — это то, что бесспорно, не подлежит обсуждению, указано свыше, написано в газетах. Для него же — что-то, может быть, и неуловимое, словами не скажешь, но что-то другое, что видишь сам, слышишь сам, не от головы обязательно, от другого, от сердца, что ли.

И убедило его в этом выступление Юфы.

До Юфы выступал еще Антипов — член партбюро и начальник отдела кадров. Он, мол, не выступал до сих пор потому, что хотел ознакомиться с мнением коммунистов. В целом товарищи говорили правильно. Выступающие дали правильную оценку поведению Юфы и в мнениях своих были едины. Этого и следовало ожидать. Коллектив показал себя, в общем, здоровым, сплоченным, единым. Некоторое недоумение вызвало, конечно, выступление молодого товарища, но будем надеяться, что это по молодости лет, что он подумает и переосмыслит сказанное, прислушается к старшим товарищам. Не хочется думать, что товарищ говорил с чужого голоса, что у нас, к сожалению, еще практикуется. На этот раз поверим ему, он еще молодой, от ошибок не застрахован. Теперь же послушаем, что скажет нам Юфа.

В зале стало тихо.

Юфа встал, одернул пиджак, положил папку с бумагой на стул, поставил его перед собой и, оглядев весь зал, начал тихо, с паузами, глядя иногда в потолок, иногда в окно.

— Мне через два месяца, 15 июля, минет шестьдесят лет. Возраст, как говорят, уже солидный. И подумать

за все эти годы было когда. И было о чем. И не буду вас утомлять, вы и так устали. Мне просто хочется, чтоб вы, здесь сидящие, поняли, что мною руководило, когда я подал в партбюро заявление. Тут говорили много обидных для меня слов, я не хочу их повторять, говорили люди, которые знают меня не один год, и думаю, и верю, и надеюсь, что, придя домой, они постараются скрыть эти слова от своих детей, поверьте, так будет лучше...

По залу прошел шумок. Абрам Лазаревич продолжал. Так же тихо, спокойно, как и начал. Он сам потом поражался своему спокойствию и тому, что слова сами собой находились.

— Но не в этом дело. Дело в другом, более значительном. Дело в сути моего заявления, в причинах, побудивших меня его подать. Многим может показаться странным — и я это вполне понимаю, — что человек, родившийся на этой земле и защищавший ее в годы Отечественной войны, а до этого учившийся и работавший, и после войны вот уже двадцать пять лет работающий, что человек с трудом читающий на идиш и совсем не знающий иврит, захотел вдруг, на старости лет, переехать в страну, где живут чужие ему люди, говорят на незнакомом ему языке, где другие, чужие порядки, где фактически идет еще война, не за твои интересы, а за интересы далеких для тебя людей. Понимаю, это может показаться странным. Но только на первый взгляд. Повторяю — только на первый взгляд.

Абрам Лазаревич сделал паузу, подошел к столу президиума, отпил воды из стакана.

— Человеку свойственно ко многому привыкать,— продолжал он, — к плохому и хорошему. Как привыкли мы к новому Крещатику, к новым домам, сначала с колоннами и арками, а теперь к коробкам, к башням. Смотришь на них и думаешь — вероятно, так и надо. И ходишь по этим городам. Ходишь, работаешь. А иногда вдруг хочется в лес, хочется взять сына за руку и пойти с ним в лес... Вот и захотелось мне этого. Хотя в том лесу есть, может быть, волки...

— А не гиены? — крикнул кто-то из зала. — И вообще, нельзя ли без басен? — выкрикнул еще кто-то.

Абрам Лазаревич поднял руку.

— Можно... Мне трудно сейчас говорить, трудно разобраться, насколько искренни были выступавшие здесь ораторы, насколько верят они тому, что сами говорили.

Я же буду с вами откровенен. Мне нечего скрывать. Да и незачем. — Он заговорил громче. — Я лично не чувствую на себе никаких признаков антисемитизма. Но разве это значит, что его нет? Он есть. (Шум в зале. Баруздин стучит карандашом по графину: "Порядок, порядок") . Да, он есть. И дело не в том, что передают иногда по радио — нету, мол, еврейских школ, еврейских газет, мало синагог... (Голос из зала: "И Би-Би-Си, значит, слушаете?") Не в этом дело. И не в том, что кто-нибудь в пьяном виде, а иногда и не в пьяном, скажет "жид". А в том, о чем не принято говорить, но о чем все знают. В процентной норме в институты и некоторые учреждения, в том, что учитель, увидев у моего сына в альбоме израильские марки, велел их тут же выкинуть, что книги на еврейском у тебя изымаются, что у человека, который хотел возложить венок к камню на Бабьем Яре, потребовали, чтоб он сначала перевел надпись на венке, сделанную по-еврейски, а потом так и не разрешили его возложить. А третьего дня, например, в ОВИРе, в отделе виз, так прямо и сказали, когда я пришел туда за анкетами, майор с медалью на груди сказал: "Моя б воля, собрал бы вас всех в кучу и без всяких там бумаг, коленкой под задницу — и наше вам... Нечего небо тут коптить, воду мутить, провокации разводить..." Как это можно назвать? Дружбой народов? И вот после этих слов, сказанных тебе прямо в глаза, твое желание поехать в маленькую, строящую свою жизнь страну, где никто и никогда, в пьяном или трезвом виде, не назовет тебя "жидом", — это желание назовут изменой родине, а тебя заподозрят в намерении что-то кому-то продать... Вот это самое обидное.

Здесь Абрам Лазаревич остановился, повернулся в сторону президиума, хотел что-то еще сказать, но махнул рукой и сел. Сел и тут почувствовал вдруг слабость, дрожь, даже вроде слегка затошнило. Порывшись в боковом кармане, принял таблетку.

По залу прокатилась глухая волна, и, хотя никто ничего не выкрикнул, Николай Александрович постучал карандашом по графину: "Тише, тише, товарищи". А сам в это время думал: "Что же теперь надо делать? Исключать, что ли?"

А Абрам Лазаревич думал: "Для чего он все это говорил? Кому и что он доказывал? В чем хотел убедить? В чем оправдывался? Нашел, видишь ли, трибуну для обличительных речей. Димитров на Лейпцигском процессе..."

А Коля Кудрявцев, в свою очередь, ворочая тяжелыми как камень мыслями, задавал себе вопрос: чем этот такой безобидный на вид Юфа не угодил всем остальным и почему всем так хочется его утопить?

"А потому, что не похож на них", — сам ответил он себе. "Потому и топят, гады". И ужасно захотелось кому-то дать в морду, кому-то с лицом райкомщика и секретаря партбюро, и застегнутому на все пуговицы замдиректора, и всему президиуму, всем сидящим в этом зале.

6

Вечером, лежа на диване, укрытый пледом, — почему-то слегка знобило, хотя день был теплый, даже жаркий, — Абрам Лазаревич говорил своему сыну, пятнадцатилетнему Борьке:

— Ты б видел, Борис, с какими лицами все расходились после собрания. Вынесли человеку приговор и скорей по домам — к женам, детям, внукам. А там, сидя за тарелкой борща, либо молча принялись хлебать, уставившись глазами в газету, либо бурчать, что есть еще

на свете дураки, или, кто пооткровеннее, говорили: "Собрать бы их всех на пароход, со всем их барахлом и лупоглазыми абрамчиками — и скатертью дорожка, катитесь ко всем чертям к своим голдам... Кому они здесь нужны?" Вот так-то, Боричка... А твой глупый, во что-то верящий еще отец пытался им что-то еще доказать, объяснить. К чему? И кому? Когда вопрос поставили на голосование: "Исключить или не исключить?" — один, ты понимаешь, один только голос был против. Один только неведомый мне парнишка, слесарь Кудрявцев, кажется, фамилия, отважился не согласиться со всеми, иметь свое мнение. Ну что ты на это скажешь?

Боря молчал, крутил какую-то проволочку.

— Я видел, как потом подошел к нему наш Баруздин, и секретарь райкома, и еще кто-то, кажется, завкадрами, и отвели куда-то в сторону. Что они ему говорили?

А Коля Кудрявцев стоял в это время со своими приятелями в "Петушке" у стадиона "Динамо" и, разливая в стаканы купленную в соседнем гастрономе водку, рассказывал о том, что ему говорили.

— И хотелось мне послать их всех к ядерной бабушке. И Баруздина этого, и мордатого из райкома, и гниду эту белесую, завкадрами. Ох, как хотелось, кулаки чесались, да как сделаешь? А? Как? Ты, видишь ли, говорят, против партии встаешь. Подонков защищаешь. Разве не видишь, что подонок, дезертир, реваншист, ну и пошли и пошли... А я им говорю — кто подонок, я еще не знаю, а ополчились вы на него потому, что не похож на вас. Вот и все. Как вырвалось это у меня — не знаю, но вот вырвалось. А они смотрят на меня, глаза сузились, и говорит этот самый из райкома, главный ихний, что больше всех еврея топил, говорит: "Ладно, поговорим еще с тобой, вправим мозги". "Попробуйте,— сказал я, закурил беломор и хода..."

— Так и сказал?

— Так и сказал.

— Ну, это ты зря. Зачем на рожон лезть?

— Какой же это рожон? — удивился Николай. — И никогда я не лез. Сказал, что думал, и все.

Стоявший рядом за стойкой горбоносый, похожий на грека, черноглазый парень в тельняшке присвистнул.

— Этак ты, Колька, в два счета из рядов вылетешь.

— А нужны они мне такие. В директора я не собираюсь, в замы тоже, а деньги за партвзносы на это потрачу, — он щелкнул по бутылке пальцами. И вдруг заговорил серьезно, будто и хмель вышел. — Ряды, вот, говоришь. Чего я в них пошел? Так, чтоб отстали. Вступай да вступай, говорят, молодой, демобилизованный, все впереди, таким, как ты, и строить будущее. Строить так строить, один черт. Ну, буду на собрания ходить, уровень повышать, может, умней стану. И вступил. Карточку вручили. Учись, говорят, расти, по пути Ленина вместе с нами, вперед, к заре коммунизма. А где эта заря? Где она, я вас спрашиваю.

Тот же горбоносый, в тельняшке, криво улыбнулся:

— Впереди, куда шагаешь.

— А ну тебя. Я серьезно спрашиваю.

Николай разлил остатки водки.

— Пошел я, значит, на это собрание. Персональное, говорят, дело какого-то там Юфы, инженера. Ну, думаю, проворовался там, расхитил какое-нибудь социмущество, послушаем. Надо таких на чистую воду выводить — кандидат я или не кандидат. А тут, смотрю, сидит себе на стульчике такой пожилой, лысый еврейчик, молчит, что-то на бумажке рисует, а его по мозгам, по мозгам, по мозгам! И такой ты, и сякой, и запроданец, и продаешь что-то, и Родину не любишь, а она кормила тебя, поила, а ты вместо того, чтоб благодарить ее и вкалывать на всю железку, доллары хочешь получать... Как

это так? Я не вытерпел и говорю: побойтесь Бога, братцы, дайте человеку слово сказать, нельзя же так... Ну, дали... И сказал он... Хорошо говорил, душевно. Обиделся он крепко. За что, говорит, бьете? За то, что всю жизнь

работал? За то, что воевал? Два ранения имею, контузию. Это, правда, другой говорил, не он. За что бьете? Нет, не за это. А за то, что не хочу я вместе с вами строить. Хочу уехать от вас...

Захмелевший Николай начал вдруг фантазировать и, изменив на свой лад выступление Юфы, свел его к тому, что казалось ему более убедительным. К желанию Юфы строить свое маленькое государство, где никто никогда не будет называть его "жидом".

— А его что, называли? — перебил горбоносый.

— Его? Не знаю, может, и называли. А может, и не называли. Но могли назвать, — Николай вздохнул. — Одним словом, дерьмо все это. Нельзя на одного наваливаться. И в грудь себя еще бьют — мы, мол, хорошие, правильные, за идею боремся, а тебя, гада, к стенке.

— Ну и что, исключили?

— А как же. Единогласно. Один я только был против.

— Ну и тебя, значит, исключат.

— Ну и пусть исключают. Не умру. — Николай посмотрел на пустые стаканы. — Еще по маленькой, что ли?

И взяли еще по маленькой. Потом еще. И оказались все в конце концов в милиции. И составили там протокол и выписки из него разослали по месту работы.

Так закончился у Николая этот длинный, несуразный, заполненный разговорами и объяснениями, оказавшийся переломным в его жизни день.

x x
 x

И началась у Абрама Лазаревича с того дня страда. Два раза в неделю ходил он по утрам в райком, и там, молодой, в прошлом военный прокурор, член бюро, ныне именуемый партследователем, "вел с ним работу", выспрашивал, убеждал, запугивал, иногда угрожал: "Ну, как мне вам объяснить, — в сотый раз уговаривал он его, — что, если вы заберете свое заявление обратно, все

можно кончить полюбовно? Ни в чьих интересах раздуть ваше дело, но и замять его нельзя. Ну, дадут вам выговор, запишут в дело — и квиты. Охота вам таскаться сюда каждый день и выслушивать мои поучения. Оба мы с вами не первой молодости, на своем веку кое-чего повидали, чему-то научились. Зачем же усложнять самому свою жизнь? Ну, не прав я разве?" — И, кладя свою большую, мягкую руку на руку Абрама Лазаревича, заглядывал ему в глаза, пытаясь добраться до глубины души. Иногда же менял пластинку и говорил жестко, с другими уже интонациями: "Не забывайте, что в нашем аппарате есть органы и способы принуждения. Не хотите по-хорошему, можно и по-другому".

Абрам Лазаревич после этих бесед возвращался домой, принимал что-нибудь успокоительное, которое ничуть не успокаивало, брал что-нибудь толстое, вроде "Саги о Форсайтах", и пытался найти успокоение в компании "молодых" и "уже не молодых" Джолиони Сомсов. На работу не ходил, предложили взять отпуск, очевидно, последний в его жизни.

Сын, Боря, несколько раз вытягивал его на пляж — вообще, он был внимателен и заботлив, — и там, на пляже, под грибком, с развешанными на нем штанами, он лежал и, глядя на проплывающие над его головой маленькие, белые, кудрявые облачка, думал о том, как ему все надоело, смертельно надоело. И не хочется встречаться с людьми, и принимать их соболезнования, и в сотый, тысячный, миллионный раз выслушивать советы, как себя вести с тем-то и тем-то, там-то и там-то. Ну их всех, надоело, скучно...

Как-то на пляже к нему подошел и попросил разрешения взять газету, а потом сел рядом на корточки, лилово-бронзовый от загара, поджарый парень, которого он сразу не узнал, оказавшийся тем самым Кудрявцевым, голосовавшим против его исключения.

— Я уже давно вас здесь заприметил, да все стеснялся подойти. Вы что здесь, с сыном?

— С сыном. Закаляет меня.

— И правильно делает. Солнце, воздух, вода. Что еще надо?

— А вот, оказывается, этого мало, — грустно улыбнулся Абрам Лазаревич.

Парень тоже улыбнулся, показав белые, ровные, не видавшие еще бормашины зубы, и растянулся на животе.

— Я вам не мешаю? Давно вот хотел у вас спросить. Вы в партию... Давно вы в нее вступили?

— Давненько. На фронте еще, в сорок четвертом.

— В сорок четвертом? Порядочно-таки. Двадцать шесть лет, значит? А зачем? Простите за нескромность.

— Вопрос сложный. Сразу и не ответишь. Очевидно, верил еще во что-то.

— Очевидно?

— Очевидно.

— А сейчас?

— Промолчать нельзя? — улыбнулся Абрам Лазаревич и, хотя давно бросил курить, попросил у Николая папиросу. Тот быстро куда-то сбегал, принес пачку "Шипки" и растянулся опять рядом на животе.

— Как хотите. Можете и промолчать. Это вроде как и ответ.

И завязался у них тут разговор, о котором после Николай говорил своей Леночке, как о самом важном в его жизни.

Именно в тот день, на пляже, под грибком, узнал и понял Николай то, чем никогда до той минуты не интересовался. Что в сотворении мира принимал участие не только Бог-Саваоф, бородатый старик, сидящий на облаках, добрый и обидчивый, — о нем рассказывала ему в деревню бабка, — но и дьявол-искуситель.

— Это он придумал разделение на земле, — он, он, он, уверяю тебя! Бог хотел, чтоб всем было хорошо, чтоб все жили дружно и помогали друг другу. А он, дьявол, черт, змеей обвивал вокруг дерева, повесил на нем яблоко, и с того и началось. Адам и Ева застыдились друг друга.

Каин убил Авеля — и по-ошло... Он, черт, разделил людей на богатых и бедных, сильных и слабых, добрых и злых, партийных и беспартийных. Ты не смейся, это точно. Одним все, другим ничего или почти ничего.

— Это все тебе твой Юфа объяснил? — спросила Леночка, не одобрявшая это знакомство, вселившее в Колькину голову всякие еретические мысли.

— А кто же? Конечно, он. Я и сам-то об этом раньше подумывал, но он, рассказал, на личном примере все это проверил.

И Николай развил перед Леночкой довольно стройно сконструированную теорию человеческого неравноправия и своеобразного распределения благ, прав и обязанностей, в которой не последнюю роль играл марксизм-ленинизм.

— Слушай, мне пить хочется, — сказала Леночка, ей надоело все это слушать и действительно хотелось пить.

Николай натянул штаны и побежал к киоску, где продавали теплое, позавчерашнее пиво.

7

Пятнадцатого июля был день рождения Абрама Лазаревича. Минуло шестьдесят лет.

Проснулся он в этот день рано, но долго не вставал. Лежал с закрытыми глазами. За окном неистово носились ласточки, пронзительно по-своему голоса, ворковали призывно голуби, какие-то люди, матерно ругаясь, начали сбрасывать внизу во дворе ящики. А Абрам Лазаревич лежал и думал о том, что вот начался еще один день и неизвестно чем его заполнить. И никуда не надо идти, отмечаться у табельщицы, раскладывать бумаги на столе, отвечать по телефону, ходить на совещания, ездить в Ново-Величи на стройки. И давно он не видел уже всех своих сослуживцев, которые раньше в этот день, день его шестидесятилетия, повесили бы у него над столом вырезанную из какой-нибудь фотографии его физиономию, и пририсовали бы к ней забавное туловище с ручками и ножками, и написали бы — этим занимался присяжный стенга-

зетный поэт, все тот же Саша Котеленец — забавный стишок, вроде: "Лазарь наш Абрамыч, шестьдесят вам уж сполна, выпьем же стаканчик доброго вина... И пусть будет всем нам жизни ваш пример образцом, достойным деланья карьер..." Недавно он, кстати, встретил этого самого Сашу Котеленца. Бежал с авоськой в руках, полной картошки.

— Любуйся, жертва семейной эксплуатации, — деланно весело заулыбался он, размахивая авоськой, — и подумай только, за все это дерьмо три рубля, тридцать рэ на старые деньги. Хотел грибов еще сушеных купить. Так за такую вот вязочку, смотреть не на что, полтора карбованца. Дешевле грибов, называется...

Потом так, вроде мимоходом, спросил о жите-бытье.

— Перешел на пенсию? Великое дело. Солдат спит, а служба идет.

Абрам Лазаревич спросил кое о ком из бывших сослуживцев.

— Да что говорить, — Саша развел руками, — тянем лямку. Ждем не дождемся пенсионного возраста. Мне вот еще целый год тянуть. Жду не дождусь. На рыбалку буду ходить, таких вот щук ловить. Ходишь небось?

— Дома все больше.

— Напрасно, напрасно. Рыбалка великое дело.

На этом и расстались.

Встречал он еще кое-кого, также на ходу, на улице. Минут пять постоит, поговорят о том о сем, об очередном инфаркте, вреде жары для сердечников, неудачном замужестве чьей-то дочери, и ни слова о том собрании, как будто его и не было. Один только Лемперт, тихий, незаметный Лемперт, проповедовавший теорию "невысовывания", сказал ему:

— Послушай меня, старого мудрого ребе. Забери ты это идиотское заявление — и дело с концом. Нужен тебе этот Израиль, как прошлогодний снег. С арабами они и сами справятся, без тебя, поверь мне. Пусть этим Гуннар Ярринг занимается, он за это свои пару копеек имеет. Ну их всех к лешему.

Так лежал, натянув одеяло на подбородок, и думал Абрам Лазаревич обо всем этом, вспоминал и понимал, что всю эту канитель давно пора бы кончать, но вот почему-то не кончал, и ходил в райком, и вел эти бесконечные, никому не нужные беседы в ожидании бюро райкома, а потом такой же тяготины с другим уже следователем, в обкоме, — конца и края этому не видно. От всего этого становилось невыносимо скучно, и болела голова, и не хотелось уже ни в какие Израили и земли обетованные, а если и хотелось, то только чтоб не думать обо всем этом и не видеть всех этих опостылевших презирающе-ненавидящих милицейских морд из ОВИР'а, куда все еще надо было ходить наведываться и выслушивать в n-ный раз брезгливо роняемое "Я ж вам сказала, прийти через месяц. У вас что, календаря нет, все пороги обиваете." Ох, как надоело, как надоело...

На старых, стоячих, еще дедушкиных часах, чудом почему-то не унесенных немцами, проскрипело, пробило восемь. Абрам Лазаревич встал, сунул ноги в шлепанцы и прошлепал на кухню готовить Борису завтрак. Тот еще спал, скинув на пол простыню и, как всегда, натянув на голову подушку, чтоб не слышать боя часов.

У него уже кончались экзамены — осталось еще два — математика и еще что-то, он уже не помнил что. Ох, уж эти экзамены, скорей бы они тоже кончались. Вчера, например, стали спрашивать парня о ближневосточном конфликте. Ну, ответь честь-честью, как положено, не вдавайся в подробности и разъяснения. Так нет, этот лопухий, пятнадцатилетний идиот задает учителю вопрос.

— Почему американская помощь Израилю называется подливанием масла в огонь, а наши ракеты и танки дружеской помощью борющегося за независимость братскому арабскому народу?

Видали вы такое? Хорошо, учитель к нему неплохо относится и, как ни странно, наделен чувством юмора. "Ты газету "Правда" читай, — сказал он, — третью страницу, тогда все поймешь", — и поставил тройку.

Ох, Боря, Боря... Что с ним делать? Растет, молчит, все понимает. Стал какой-то замкнутый, серьезный, с товарищами по вечерам сидят, читают что-то недозволенное. Нашел у него недавно на столе "Дело Бейлиса". Потом еще спрашивает:

— Как же это так? Никак не пойму. Царский режим, сатрапы, черносотенцы, антисемиты, "Двуглавые орлы", пущены все механизмы, а человека признали невиновным?

— Хорошие защитники были. Маклаков, Карабчевский, Грузенберг, Зарудный, Григорович-Барский.

— Что ты говоришь! Как будто у Синявского и Даниэля были плохие.

— Тогда чего же ты спрашиваешь, если сам все понимаешь?

— Хочу все точки над i поставить. А у меня этих точек не хватает.

Вот как он стал отвечать, поганец.

А в это время другой "поганец", правда, уже двадцатилетний, Женька Баруздин, портил кровь своему отцу. Он стал "хиппи". Воспользовавшись каникулами, отрастил волосы до плеч, как у Герцена, по его словам, бороду, усы, ходил в черном свитере, невыносимой поношенности джинсах, и на все уговоры матери и отца лениво-презрительно отвечал:

— Просто у нас разные взгляды на жизнь. Меня тошнит от ваших газет с вечно улыбающимися с первых страниц передовиками. Тошнит от вашего стремления, безрезультатного, правда, до сих пор, к благополучию и сытым желудкам. К тому же, вы трусы. Всех боитесь — чехословаков, поляков, Гинзбурга, Галанскова, меня боитесь, себя самих. Кстати, отец, куда ты дел мою "спидолу"? Все равно найду. А не найду — принесу другую. Или к Эдику буду ходить, там не так трясутся.

И ходил к Эдику, и приходил потом с этим самым Эдиком и еще какими-то девицами, и начинали крутить магнитофон и ставить всяких там Высоцких и Галичей, от которых без ума.

Николай Александрович не на шутку встревожился. Хорошо еще водки не пьют — "мы, пахан, против допингов", — но и без водки весело предостаточно. Одних разговоров хватает.

— Пойми, Женя, — пытался он его совестить после того, как Василь Васильевич сказал ему как-то на бюро райкома: "Послал бы ты своего отпрыска в парикмахерскую, а то, право, неловко, орангутанга какого-то вырастил". — Пойми, что мне краснеть за тебя приходится. Я все-таки занимаю определенное положение, со мной считаются, советуются, а сын — паяц, да еще вбил себе в голову, что умнее всех.

— Если не умнее, то порядочнее. У меня на счету Юфы нет. У меня совесть чиста. Между прочим, он у вас что, больше не работает? Я его сына встретил, говорит, перешел старик на пенсию.

— Перешел. Шестьдесят уже.

— Кстати, на днях, кажется, стукнет. Борис мне говорил. Пятнадцатого, что ли? Вот предлагаю проявить заботу, внимание. У вас, по-моему, это принято. Дать по шее, а потом с Первым мая поздравить или Седьмым ноября. Понес бы ему тортик или бутылку сухого "Наддніпряньского". От бывших "однополчан", так сказать.

И через неделю напомнил: "Сегодня, между прочим, пятнадцатое. Не забыл? Тортик, тортик..."

8

В этот вечер Абрам Лазаревич даже растрогался. Вечер был душный, предгрозовой. Тучи. Сначала бело-сизые, потом сизо-красные, красно-черные долго ползли из-за крыш соседних домов, потом поднялся ветер, согнувший стоявшие под окном акации чуть не до земли, и после длительной этой подготовки полил наконец дождь. Не дождь, а лавина воды, какие бывают только в кинофильмах.

И в этот момент, когда, казалось, всех прохожих на улице должно было смыть, явились, все струившиеся потоками воды, промокшие до нитки, Коля Кудрявцев и с

ним еще какой-то, бородатый. Принесли бутылку шампанского и еще какого-то не то румынского, не то венгерского вина и завернутые в промокшую бумагу колбасу, холодец и баночку хрена.

— А мы к вам... По случаю, так сказать, знаменательного дня. Не прогоните? Все-таки промокли малость, не мешает и согреться.

Чувствовалось, что ребята малость "подзаправились", в чем, впрочем, сами признались: "Дождь вынудил, а тут как раз забегаловка". И, весело хохоча, стали в прихожей выкручивать рубашки и штаны.

Борька им помогал, показывал, куда вешать, был явно смущен и горд — не забыли, вот... Потом, натянув несколько тесные в подмышках Борькины майки, уселись чинно на диван, поджав под себя длинные волосатые ноги.

— А это Женя Баруздин, — представил Николай Женю, — от имени, так сказать, вашей и бывшей моей парт-организации. Я ведь оттуда ушел, не сошлись характерами, работаю теперь в автопарке. Ну, а вы как? Как здоровье?

— Да так, скрипим по-стариковски. Через месяц, вот, первую пенсию принесут.

— Ну, а там как? — Николай кивнул куда-то в сторону. — С отъездом вашим?

— Хожу все. Анкеты переписываю. То это не так, то — то... Борь, ты все-таки чистую скатерть постелил бы, разве мать не учила тебя, как надо гостей принимать? — Абраму Лазаревичу не хотелось говорить об ОВИР'ах и всем прочем.

Потом сели за стол и наполнили бокалы. Женя встал, еще не высохший, с прилипшими ко лбу волосами и очень серьезный.

— Мазелтов, — сказал он и последующее говорил ни разу, даже чокаясь, не улыбнувшись. — Я хочу выпить, Абрам Лазаревич, за вас. За то, что вы такой, как вы есть. Пусть другие, в том числе и мой родитель, те, кто за бла-

гополучие и благоразумие, кто только думает об одном: "как бы чего не вышло", пусть они считают вас ненормальным. Пусть. Мы этого не считаем. Мы — это неопределившиеся, еще шарахающиеся и колеблющиеся, что-то нащупывающие, пока еще не нашедшие, но ищущие того, чего больше всего боятся наши родители. Мы хотим мало — свободы выбирать. И самим выбирать. Вы выбрали. Правильно или неправильно, но выбрали. И не отрекаетесь. Пусть же выбранное вами никогда не разочарует вас. За это я пью. Мазелтов!

Абрам Лазаревич почувствовал, что у него наворачиваются слезы. Отошел к окну и долго смотрел на бегущие внизу, во дворе, ручьи. Дождь постепенно переставал. Потом вернулся к столу и, слегка волнуясь, сказал, что очень тронут тем, что Женя сказал. И тем, что вообще пришли. Он, как они, вероятно, понимают, не придает никакого значения датам, и все же приятно. Приятно, когда не забывают, когда...

Он смутился и неловко, проливая на скатерть, наполнил опять бокалы.

— А насчет выбора? Думаю, что твои родители правы, считая меня ненормальным. Но очень уж надоело быть нормальным, поверьте мне. А если говорить совсем уж начистоту...

Но начистоту ему сказать не дали. Дождь кончился, и явились гости, старые, еще институтские друзья Абрама Лазаревича, муж и жена с племянником-физиком, из категории тех, как сразу поняла молодежь, которые Абрама Лазаревича тоже считают ненормальным. На столе появился торт и еще одна бутылка.

Стараясь не обращать внимания на голые ноги Женьки и Николая, старые друзья заговорили сначала о дожде, потом об измучившей всех за последнее время жаре, вообще о перемене климата за последние годы, о том, что это результат ядерных испытаний и всяких там космических экспериментов, — и тут племянник-физик, оседлав своего конька, стал нудно рассказывать о последних успехах в этой области. И стало совсем скучно.

— У тебя нет Галича? — спросил заговорщицки у Бориса Женя. — Хотелось бы нокаутировать старцев.

— Есть у Валеры, соседа. И маг есть.

— Принес бы.

Через минуту появился магнитофон, и комната наполнилась гитарой и приятным, комнатно-застенчивым, перебиваемым смехом и аплодисментами голосом кумира всей молодежи.

Сначала все смеялись, слушая про товарища Парамонову, про вышедшую замуж за красавца эфиопа регулировщицу Леночку, про истопника, рекомендующего "столличную" как верное средство от стронция, потом перестали смеяться.

**Мы похоронены где-то под Нарвой,
под Нарвой, под Нарвой...**

тихо и грустно, а потом все громче и трагичнее зазвучал голос.

**Мы похоронены где-то под Нарвой,
Мы были — и нет.**

**Так и лежим, как шагали, попарно,
попарно, попарно.**

**Так и лежим, как лежали, попарно —
И общий привет.**

**И не тревожит ни враг, ни побудка,
побудка, побудка,**

**И не тревожит ни враг, ни побудка
умерших ребят.**

**Только однажды мы слышим как будто,
как будто, как будто.**

**Только однажды мы слышим как будто
Вновь трубы трубят.**

**Что ж, поднимайтесь, такие-сякие,
такие-сякие.**

Что ж, поднимайтесь, такие-сякие.

Ведь кровь — не вода.

**Если зовет своих мертвых Россия,
Россия, Россия,**

То, значит, — беда.

**Вот мы и встали в крестах и нашивках
нашивках, нашивках.**

**Вот мы и встали в крестах и нашивках
В снежном дыму.**

**Смотрим и видим, что вышла ошибка,
ошибка, ошибка.**

**Смотрим и видим, что вышла ошибка,
И мы — ни к чему.**

**Где полегла в сорок третьем пехота,
пехота, пехота.**

**Где полегла в сорок третьем пехота,
Так просто, зазря.**

**Там по пороше гуляет охота,
охота, охота.**

Трубят егеря...

Все молча слушали, глядя кто в окно на раскачиваемые ветром акации, кто на бутылки на столе, кто на кончики собственных ногтей. Потом также молча прослушали "Промолчи, промолчи, промолчи... Промолчишь, попадешь в первачи... Промолчишь, попадешь в богачи... Промолчишь, попадешь в палачи...".

— Мда, — задумчиво сказал пришедший гость, когда Боря выключил наконец магнитофон, — все это, конечно, грустно, рождает невеселые мысли, но еще грустнее, что увлекается этим наша молодежь, — он кивнул в сторону перематывающего ленту Бориса и стоявшего с ним рядом Николая. — Может, мы в этом возрасте беспечнее были, а может, напротив, собраннее, целеустремленнее. Как ты думаешь, Ава? А годы тогда были тридцатые, нелегкие. Коллективизация, голод...

— Тридцать седьмой еще был впереди, — сказал Абрам Лазаревич, — а для них он уже позади, история. И дело врачей — тоже история.

Заговорили о врачах, Берии, неизвестном Рюмине, которого уже все забыли.

— Кстати, — вставил Женя, — в последнем томе БСЭ, который только что вышел, на букву "Б" Берии вовсе нет. А в предыдущем издании, я видел у отца, в этом са-

мом томе на букву "Б" лежит записка: возьмите ножницы или бритвочку, вырежьте страницы такие-то и такие-то и замените прилагаемым — Берингов пролив и еще что-то. Это вместо Берии. Отец, конечно, указание выполнил и кровавого тирана тут же сжег на спичке.

— А кто это Берия? — недоуменно спросил Николай.

— А кто такой Ягода, Ежов — тоже не знаешь? — поинтересовался Женя.

Николай пожал плечами.

— И чему вас в армии только учат?

Николай смутился и покраснел.

— Я вообще не очень-то того... Учиться еще надо.

— Научат вас, — мрачно сказал Женя. — "По ленинскому пути" Леонида Брежнева читай. Он сейчас на всех языках вышел.

Воцарилось неловкое молчание. Молодой физик, чтоб разбить его, разлил вино и сказал:

— Век живи, век учись, все равно дураком умрешь. Взрослые ничего не сказали и молча выпили.

— Да, вот так-то, — Женя поставил свою рюмку на стол и тихо пропел: — "И вышла ошибка, ошибка, ошибка... и трубят егеря..."

— Трубят... — неопределенно сказал Абрам Лазаревич.

Разговор явно не клеился. Гости посмотрели на часы.

— Торопитесь, что ли? — спросил Абрам Лазаревич.

— Да... Еще одни именины сегодня. Урожайный день какой-то, — раскланялись и ушли.

После их ухода стало как-то проще. Прокрутили еще магнитофон, потом пили чай с принесенным тортом. Разошлись где-то после одиннадцати. Штаны и рубашки к тому времени уже высохли.

— Ну что ж, — пожимая ребятам руки, говорил Абрам Лазаревич. — Очень мне приятно было, что зашли. Не думал, никак не думал. Есть, значит, все-таки преемственность поколений.

— Только поколение не то, — рассмеялся Женя. — Наше, то есть. Недостаточно целеустремленное, малосведущее.

щее. Надо вот еще Николаю на Берию глаза открыть, а то темный он у нас еще. Пошли, что ли, Коля?

И ребята убежали, весело перепрыгивая через одну ступеньку.

Абрам Лазаревич подошел к окну, подышал посвежевшим после дождя воздухом, потом сказал:

— Помой-ка, Борь, посуду. А я полежу. Голова что-то закружилась с непривычки, — и лег на диван.

9

Прошло лето - жаркое, сухое, почти без дождей. Сердечники жаловались на него. Абрам Лазаревич тоже плохо себя чувствовал. Никуда они с Борей, как собирались, не поехали — куда-нибудь на юг, к морю. Нужно все еще было ходить к следователю, потом со дня на день откладывали бюро райкома. Состоялось оно где-то в начале сентября.

После него Абрам Лазаревич пришел разбитый, какой-то осунувшийся, сразу лег на диван.

— А обед? — встревожился Боря. — Я тут все приготовил. К супу даже гренки поджарил. Салат сделал из помидоров и огурцов.

— Спасибо, Борь. Погоди немного. Отлежусь малость... Дай мне стаканчик воды. И таблетку там, на столе, ты знаешь.

Через полчаса он встал, пообедал без особого аппетита, но так, чтобы Борис этого не видел, и опять лег с книгой в руках.

На бюро он почти ничего не говорил. Сказал, что за это время все еще раз хорошо продумал, но решения своего не меняет, не видит для этого оснований. До него говорил еще его партследователь, волнуясь, заглядывая в бумажку. Говорил сочувственно, упирая на фронтовое прошлое Юфы, на его ранения, контузию, хорошие отзывы с работы. Вывод его, учитывая все вышеизложенное, — строгий выговор с предупреждением.

— А может, еще благодарность вынести? — угрюмо съязвил Василь Васильич, первый секретарь. — И билет на самолет домой принести?

После Абрама Лазаревича говорил Баруздин — и нашим, и вашим, как и следовало ожидать, что, на его взгляд, было проявлением наивысшего мужества; потом какой-то военный, требовавший исключения; еще кто-то, поддержавший военного; строгого вида женщина: что сам поступок влечет за собой исключение, но, учитывая возраст, фронт, ордена и веря в то, что коммунист Юфа еще подумает и т.д., эту меру можно заменить строгим выговором.

В заключение выступил Василь Васильич. Он говорил долго, с экскурсами в историю, ссылаясь на классиков марксизма и более близких руководителей, а в общем то же самое, что говорил в свое время на партсобрании его второй секретарь. Закончил словами:

— Думаю, что партия наша не станет слабее, от того, что избавится от одного из членов своих, который не заслуживает такого высокого звания. Тут одно — или с нами или против нас! Ваш выбор, Юфа, говорит, что вы не с нами. Я не настаиваю на том, что вы против нас, — тогда меры были бы приняты другие, — но вы не с нами. Прав я или нет, товарищи? По-моему, прав... (Никто не возразил.) Итак, ставлю на голосование. Кто за исключение товарища Юфы (он все-таки сказал "товарища") из рядов партии, прошу поднять руку. Считаю: раз, два, три, четыре, пять... Кто против? Один. Кто воздержался? Тоже один.

Одним против оказалась строгая женщина. Воздержался партследователь. Баруздин голосовал за исключение.

— Прошу вручить мне ваш партбилет, — сказал Василь Васильич тоном, который должен был подчеркнуть всю торжественность данной минуты. — По поводу нашего решения можете апеллировать в горком партии.

На этом процедура была закончена. Абрам Лазаревич встал и быстро вышел, боясь, что его задержат.

10

Настала осень. Зарядили дожди. В газетах писали, что подобного количества осадков не было с тысяча шестьсот какого-то года и что зима ожидается снежная и суровая. Все охали, и жаловались, и с тоской думали о приближающейся зиме.

А Абрам Лазаревич говорил:

— Странно, но я вот люблю зиму. Настоящую русскую зиму. Скрипящий под ногами снег, толстые шапки на крышах, вертикальный, неподвижный дым из труб, и чтоб ноздри, когда вздохнешь, слипались. Ничего этого у нас не будет, Борь, в Израиле, когда мы туда попадем. Песок, кактусы, камни...

Первое время, когда он только подал свое заявление, он много думал о той, не очень далекой, но очень уж не похожей на нашу стране. Что он о ней знал? Почти ничего. Кроме сведений, почерпнутых из энциклопедии, — высокое плато с отдельными пониженными участками, полезные ископаемые — калийная и каменная соль, бром, фосфориты, асфальт, строительный камень; растительность — кустарниковые заросли маквиса и фригана, а в Галилее леса из вечнозеленых дубов, терпентинного дерева и алеппской сосны, и того, что буржуазное это государство содержится на американские доллары. Остальные сведения черпались из газет и "Голоса Израиля", которые надо было развешивать на аптекарских весах, так как, подвергавший, по Марксу, все сомнению, Абрам Лазаревич не очень-то доверял идиллическим комментариям Иерусалима.

Лежа на продавленном своем диване (последние десять лет каждый день начинался со слов покойной жены: "Когда ж мы его наконец приведем в божеский вид? Сегодня же поговорю с мадам Цейтлин, у нее, говорят, прекрасный, недорогой мастер есть, за два дня все сделает"), он пытался нарисовать себе картину будущей жизни. И нужно сказать, она не очень ясно вырисовывалась. Сестра, муж, в прошлом журналист, а сейчас не

совсем ясно кто, трое детей, невестки, внуки. И все это в кибуце, где-то недалеко от Мертвого моря. Сестра присылает иногда идущие по два-три месяца посылки с растворимым кофе, конфетами и пепельницами-сувенирами с изображением семисвечника или щита Давида. В письмах пишет: "Все мы будем рады вашему приезду и попытаемся создать сносные условия существования". Это "попытаемся" и "сносные" несколько смущали Абрама Лазаревича, но, в конце концов, что ему с Борькой нужно — крышу, кусок хлеба и что-то похожее на любовь. Сарру (теперь ее звали Сура) он последний раз видел, если это можно так назвать, пятьдесят лет тому назад, когда она была длинноногим, веснушчатым, капризным ребенком, вечно грызущим ногти и отказывающимся от манной каши. Потом она с родителями уехала в Яффо и до конца пятидесятих годов он ничего о ней не знал. Обнаружилась она через одного туриста из Израиля, который чудом его нашел и вручил письмо. Письмо было, по-видимому, из боязни, что оно попадет в чьи-нибудь руки, краткое: "Живы, здоровы", а со слов туриста он узнал, что "концы с концами" они сводят, а вообще, "знаете, какая теперь жизнь — сегодня так, а завтра Бог его знает как...". С тех пор завязалась не очень бурная, правда, переписка. В одном из писем последовало приглашение приехать к ним, изложенное с библейско-торжественной витиеватостью: "Пусть ветви деревьев, склонившихся над могилами наших отцов, осенят и наше с тобой место последнего успокоения". Вот как веснушчатая Сура стала теперь выражаться.

Сейчас, лежа на том же продавленном диване (до мадам Цейтлин покойная жена так и не добралась; теперь она, кажется, умерла, а без нее приличного, недорогого мастера днем с огнем не сыщешь), он все реже и реже рисовал себе картины неведомой, лежащей на высоком плато с отдельными пониженными участками страны, а думал о том, почему в его стране (все-таки "его") нельзя тихо и спокойно, без нервоотрепки, доживать свои дни. Он чувствовал, что с каждым днем ему становится все хуже и ху-

же — плохо спал, частые головокружения, нет-нет, да что-то подкатит к горлу, — но к врачам не ходил ("ну их, один одно говорит, другой противоположное"), ограничивался таблетками.

Как-то вечером ему стало совсем плохо, покрылся испариной и пульс переселился куда-то в голову. Борьке он ничего не сказал, но тот сам понял, не на шутку встревожился и вызвал неотложку. Те часа через два приехали, когда стало уже лучше, усталые, злые, неразговорчивые, сделали укол и через три минуты ушли, сказав: "сто лет еще проживете".

Сто лет эти оказались двумя неделями. Как-то утром Борис проснулся, поставил чайник, поджарил яичницу, а когда подошел к отцу, который непривычно долго спал, — обнаружил его лежащим на спине, с открытыми глазами и бездыханным.

Хоронили Абрама Лазаревича в ясный, теплый, удивительно прозрачный и тихий день начала октября. Вчера еще лил проливной дождь и небо безнадежно было затянуто низкими, сплошными, без единого просвета тучами. И на следующий день лил дождь, а этот, точно отдавая дань уважения усопшему, насквозь был пронизан покоем и какой-то благостностью. Пахло свежей, не высохшей еще со вчерашнего землей и палеными листьями, предвестием недалекой уже зимы. Похоронили в одной ограде с женой, без чего Абраму Лазаревичу никогда бы не попасть на это заросшее столетними липами и вязами с буйно цветущей весной сиренью кладбище для избранных, где хоронили теперь только секретарей ЦК и обкомов, всех видов Героев, а заодно их жен, воздвига на их могилах громадные, высоченные, из гранита головы с волевыми подбородками и устремленными в будущее взглядами.

Провожающих было немного — несколько дальних родственников, из бывших сослуживцев Саша Котеленец и еще несколько человек, которых никто не знал, принесших венок из живых хризантем и черной лентой, на кото-

рой что-то было написано по-еврейски. Были и Николай с Женей. Рядом с ними жался бледный, осунувшийся с красными глазами Боря.

Речей никто не говорил. Бросили по грудке земли, и рабочие молча, как-то очень тихо, почему-то не пререкаясь, со знанием своего привычного невеселого дела, засыпали могилу землей и поставили табличку с надписью: "А.Л.Юфа. Род.15 июля 1910 г., ум. 12 октября 1970 г.". Потом все разошлись.

Женя сказал:

— Ну что ж, по христианскому обычаю, хотя он и не исповедовал нашей веры?

— Ну что ж, — сказал Николай.

И, взяв бутылку "московской" и колбасы, они расположились на самом кладбище, на окраине его, над железнодорожными путями рядом с полуразваленным замурованным склепом с готическими ажурными башенками и безруким склонившимся ангелом, неизвестно чем держащим крест.

По путям проносились поезда, сменившие свои былые, низкие, благородные гудки на какой-то несолидный, пронзительный свист, а за путями растянулся город, с каждым годом меняющий свой привычный силуэт прошедшего века. Какими-то чужими, неизвестно откуда пришедшими казались белые, высокие башни и господствующее над всем привокзальное зелено-стеклянное здание новой гостиницы "Лыбедь". И не выделялись уже одиночками среди моря крыш купола Софии и Владимира, их как-то потеснили, заслонили...

— Ну что ж, — сказал опять Женя, — за упокой души, так сказать.

— Хорошей души, — сказал Николай.

Боря ничего не сказал, выпил свою стопку и попернулся.

— Вот и не доехал наш Абрам Лазаревич до обетованной земли своих отцов, — сказал, вздохнув, Женя.

Николай откинулся на спину.

— А, может, и хорошо, что не доехал? Хоть мечта осталась. А у нас с тобой есть мечта?

— У отца с матерью есть. Купить немецкую кухню за 130 рублей. Есть у них там какой-то знакомый, обещал достать.

— А у тебя, Борис?

Борис помолчал. Сорвал какую-то травинку, общипал ее, точно гадая, потом сказал:

— Все в той же Большой Советской Энциклопедии сказано, что мечта бывает двух родов — активная и пассивная. Первая — творческая, полезная, направленная на созидание, а вторая — пустая мечтательность, связанная с бездеятельностью, довольствующаяся исполнением своих желаний в воображении. Вот я и не знаю, какая из них лучше, поэтому ее у меня нет.

— Вот это да, — протянул Женя. — Трудно тебе жить будет, романтик из тебя не получится.

— Уже не получилось, — мрачно сказал Боря и больше ничего уж не говорил.

— Да, — вспомнил вдруг Николай последний их разговор на квартире у Абрама Лазаревича. — Ты обещал мне раскрыть глаза на кого-то, кого вырезали из энциклопедии.

— На Берию Лаврентия Павловича? Можно. Хотя знать тебе не положено, так как, хотя он и был до своего исчезновения из жизни и энциклопедии выдающимся общественным и политическим деятелем, но, как потом выяснилось, был он бякой и правой рукой Отца народов, которая и делала все плохое. Но к партии, учти, кандидатом которой ты состоишь, это никакого отношения не имеет, так как, к твоему сведению, она никогда не ошибалась. Так что, совесть твоя может быть чиста, а о Берии вспоминать нечего — не было его и все... О прошлом рекомендуется помалкивать.

— "Промолчи, промолчи, промолчи, — высоким голосом затянул Николай. — Промолчи — попадешь в первачи... Промолчишь, попадешь в богачи... Промолчишь, попадешь в пал-лачи...".

Через неделю после похорон пришло из ОВИР'а письмо в большом рыжем конверте со штампом. В нем сообщалось, что гр. Юфе Абе Лейзеровичу и его сыну Юфе Борису Абовичу дается разрешение на выезд в государство Израиль на постоянное жительство. Разрешение действительно до 15-го ноября с/г.

х х х

Борис ХАЗАНОВ

ГЛУХОЙ, НЕВЕДОМОЙ ТАЙГОЮ

Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит;

Тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И пришед находит его незанятым, выметенным и убранным;

Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и вошедши живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом.

Матфея 12,43-45.

Глава 1.

В первые дни ноября, когда праздник с размаху, как грузовик в толпу, врезался в скучные будни; когда угрюмые толпы молча напирали на прилавки; когда на главной улице Головного поселка досужие зрители, задрвав головы, следили, как рабочие на крыше тянут канат и в такт их крикам, толчками, раскачиваясь и задевая за карнизы Главного управления, огромное усатое лицо медленно поднимается ввысь, — только смот-

рели они не на лицо, а на тянущих; когда везде, в центре и на дальних окраинах до последней подкомандировки, сквозь спешку и беготню, как никогда, чувствовалось единое биение обнимавшей всех высшей, всеобщей и согласной жизни, —

в один из этих дней бухгалтерша Анна Никодимова принимала из управления предпраздничные телефонограммы. Она сидела одна в кабинете начальника, выложив на стол полные груди, прижимала к уху трубку, а другой рукой торопливо строчила текст.

Был одиннадцатый час утра. Окончив прием, она вышла с книгой в коридор. Рабочий день был в разгаре. В бухгалтерии безостановочно щелкали счеты, из комнаты плановиков короткими очередями вел стрельбу арифмометр, и было видно, как сизый дым тянется полосами из приоткрытых дверей. Тут близость праздничной годовщины словно бы не ощущалась. Анна прошла до конца коридора, где находилась дверь, единственная во всей конторе обитая дерматином. За дверью была другая дверь. Она бестрепетно дернула за ручку.

Без страха вошла она в эту келью, окруженную мрачной и загадочной славой. Хозяин сидел за столом один, у него было худое мальчишеское лицо, острые, как у крысы, глаза. Хозяин читал бумаги. Подняв голову, он усмехнулся ей железной улыбкой; тотчас его взгляд соскользнул вниз и приклеился к ее соскам.

Анька инстинктивно выпятила грудь; в следующую минуту уполномоченный принял из рук ее книгу телефонограмм, Анька облокотилась рядом — читать вместе; при этом грудь ее выдавилась в вырез платья, и стала видна ложбина. Как-то сама собой рука уполномоченного протянулась обнять Аньку, потом передумала и пришлепнула ее сзади. Анька хлопнула его по руке. В течение всей этой сцены блестящие, как из серебра, сапоги уполномоченного непрерывно, не останавливаясь ни на минуту, играли под столом.

Чтение было окончено. Она вышла из кабинета и горделиво, как на блюде, понесла по коридору свое маленькое пышное тело.

Из управления был спущен план мероприятий и особо, под грифом "секретно", инструкция по усилению режима в праздничные дни. Но и без инструкций все было известно заранее, повторяясь во всех мелочах из года в год; выполнение же символических мероприятий было подобно коллективному рефлексу, который ни от кого не требовал никаких размышлений. Все шло само собой. Поселок украсился флагами, и снова, как в прошлом и позапрошлом году, над крыльцом казармы воздвигся поясной портрет в еловом обрамлении, написанный много лет назад и лишь подновляемый от случая к случаю, как будто тот, кого он изображал, был вовсе неподвластен бегу времени. В магазин привезли бочку пива, там с утра стояла очередь. В клубе, в махорочных облаках, всем скопом зеленых бушлатов было отсижено торжественное собрание.

Тут прослушали в обалделом молчании доклад капитана. Когда дождались положенных здравниц, дружно грохнули аплодисменты, после чего порядок нарушился: все зевали и блаженно потягивались, солдаты цыкали слюной, перепрыгивали через скамейки, слышался дружный хохот играющих в тычок, в носы и в микитку. С трибуны махал руками начальник культурно-воспитательной части. Скоро все скамьи и табуретки были сдвинуты в сторону, и там, где гремел проспиртованный бас капитана, там теперь зашипели и разлились вдруг на весь клуб родные и довоенные "Брызги Шампанского". С крыльца вошли тетки из ближней деревни, они давно уже ждали там, — мягколицые, большеглазые, в белых платочках, не девки уже, но и не старухи, — переговариваясь певучими голосами, робко выстроились у дверей. Парни в бушлатах — от многих веяло уже одеколоном — неловко, как по нужде, приблизились к теткам. Танцы начались.

Офицеры кисло подмигивали друг другу. Пальцем — по кадыку: не пора ли?.. Время было покидать подопечный личный состав.

Вечер наступил, и в пустом небе над поселком вошла луна. Ни единого звука не раздавалось из-за высокого частокола, обвешанного лампочками. Над ярко освещенными, наглухо закрытыми воротами, на башне, венчающей домик вахты, стоял часовой.

Дверь внизу отворилась, вышел дежурный и не спеша спустился с крыльца. Издалека — из клуба — доносились слабые звуки патефона, а где-то совсем близко ворчали и кашляли собаки. Дежурный растопырил полы кургузого бушлата и совершил малое дело.

Начальники с разных сторон, с женами и по одному, сходились к терему капитана. Рысцой бежал веселый начальник культурно-воспитательной части. Степенно шагал командир взвода. Тащился спецчасть. Вот опять загремел внешний засов вахты, дежурный встрепенулся: с крыльца сходил оперативный уполномоченный, и дежурный поспешно отдал ему честь. Теперь со стороны клуба было слышно заливиное и отчаянное пение, и доносился скрежет аккордеона. Праздник был в полном разгаре. А здесь, у ворот, было все тихо. Уполномоченный только что кончил работу. Хрустя серебряными сапогами, весь серый в прямой и длинной шинели как бы из обветренного металла, он твердо промаршировал по дороге, и короткая его тень, пошатываясь, бежала за ним.

Глава 2.

Шесть пар — капитан с женой, спецчасть с Анькой Никодимовой, начальник КВЧ с толстой и чернявой, нерусского вида супругой, еще несколько начальников с женами, а также единственный считавшийся неженатым уполномоченный — расселись вокруг стола, испытывая обычное в таких случаях сложное чувство неловкости

и возбуждения. Командовала Анька. Налево от себя она поместила мужа, справа водрузился капитан, угрюмо из-под косматых навесов взиравший на гостей. Напротив — глаза в глаза — уполномоченный.

На столе стоял взвод бутылок, чудо этих мест, где сухой закон, декретированный приказом из управления, обрек на одеколон и метиловый спирт всю потребляющую дружину.

Усаживались долго. Кого-то ждали, чего-то не доставало, и то и дело женщины, взмахивая желтыми платьями, выскакивали из-за стола. Возвращались озабоченные, с блестящими глазами, запихивая платочек под мышку, под тугие резинки коротких рукавов.

Стали наливать.

"Лукерья! — сказал капитан. — Ты что?"

Она съехала под его взглядом. Все смотрели на хозяйина и его жену.

"Всякое даяние есть благо", — сказал веселый начальник культурно-воспитательной части.

"Да не стесняйтесь вы, барышня, — Анька вмешалась. — Мы тут все свои... Небось в деревне-то — от самогонки не отказывались".

"Какой самогон — они там московскую глушат!" — съязвил кто-то на другом конце стола.

"Ладно!" — отрезал капитан.

И к КВЧ:

"Налей ей наливки".

Все встали в сосредоточенном молчании, стукнулись, снова сели. Тотчас забрякали вилки, задвигались челюсти. Стальные зубы капитана врезались в ветчину. Рядом с ним равномерно, неумоимо блестящие и ровные зубки Аньки Никодимовой перемальвали краковскую колбасу, селедку, кислую капусту. Муж, начальник спецчасти, нетрезвый уже с утра, печально ковырял вилкой в тарелке. Так, в неопределенном полумолчании, прошло минут десять, в течение которых успели чокнуться еще раз, потом еще.

Понемногу обрывки фраз перешли в слитный шум. В светелке капитана как будто включили яркий свет. Стало жарко. Офицеры один за другим расстегивали кителя. Круглая, обтянутая шелком нога Аньки под столом заклинилась между сапогами уполномоченного.

"Андрей Леонтьич! — начальник КВЧ, улыбаясь, стоял над ним с бутылкой. — Поскольку вы у нас человек новый, позвольте вам... ваш бокальчик? У нас по-простому, все мы одна семья... Вот и тайщ капитан тоже...".

"Своя кобыла: хошь мила, хошь немила", — сказал чей-то голос.

"Эн, как вы меня расписали, лейтенант дорогой, — лениво-небрежно говорил оперативный уполномоченный, развалясь на стуле; в это время рука его под столом пыталась дотянуться до ноги бухгалтерши. — Вас послушаешь, так я не человек, а ворон хищный. Падалью питаюсь. А хоть бы и падалью... Согласитесь, другой на моем месте был бы куда хуже. Наша работа, знаете, какая? Да я, если на то пошло, завтра могу оформить дело на любого из присутствующих. Небось у каждого рыльце в пушку, а, капитан?"

"Вы это, простите, кого имеете в виду?" — спросил осторожно начальник КВЧ.

"Да хоть тебя".

"Ну, это, знаете, — проговорил КВЧ, улыбаясь вымученной улыбкой. — Ну, это, знаете...".

"Мальчики, ну что это, — капризно сказала бухгалтерша. — Занялись там своими разговорами, а девушки скукают!"

"Девушки пла-чут, девушкам сегодня грус-сна! — оправившись, как ни в чем не бывало, запел веселый начальник КВЧ, балетным шагом обогнул стол и приблизился к Аньке. Она поспешно всовывала ногу в туфлю-лодочку. — Позвольте вас — на тур вальса!" — сказал он галантно.

Кто-то уже крутил ручку патефона, точно заводил грузовик. Лейтенант КВЧ победоносно обхватил свою да-

му. Уполномоченный равнодушно закурил. "Трра-тата!.." — заиграла музыка, и первая пара, качая, как коромыслом, сцепленными руками, побежала в угол. Там остановились, лейтенант вильнул бедрами, развернул Аньку и бегом назад. Оркестр исполнял "Брызги Шампанского".

"Новый год, — напевал КВЧ, — порядки новые. Колючей проволокой лагерь обнесен. Кругом глядят на нас глаза суровые!.."

Из угла краснолицая супруга сурово поглядывала на него.

Составились новые пары. На столе среди грязных тарелок спал начальник спецчасти.

"Нет уж! — слышался чей-то голос. — Нет уж, извини-подвинься! А раз виноват, так и отвечай за это. Так тебе и надо, едрить твою мать!"

"Виноваты, — сказал капитан Сивый, и крепкий, проспиртованный бас его перекрыл сразу все звуки. Капитан сидел за столом, лицо и шея его были красны. Под густыми навесами бровей не видно было глаз, — ... говоришь, виноваты? Вон сейчас, он повел бровями в сторону окна, — выпусти всех, а вместо них сам садись со своими гавриками. Думаешь, разница будет? Виноваты, — повторил он. — Работать надо, лес пилить — вот и виноваты".

Капитан искал что-то глазами, не обращая внимания на сидевшего напротив уполномоченного, который спокойно слушал его.

"Ладно, — сказал он. — Развели тут философию... Вон мою дуру приглашай. Луша! Ты б потанцевала, что ль".

Он нашел пустой стакан, выплеснул остатки и, налив себе три четверти, выпил. Брови его полезли вверх, придав лицу выражение неслышанного удивления. Из выпученных глаз выступили слезы. Капитан набычился и грозно прочистил голос. Потом втянул воздух волосатыми ноздрями и запел:

"Глухой, неведомой тайгою! Сибирской дальней стороной!"

Хор подхватил:

"Бежал бродяга с Сахали-и-ина!.." — так что патефон потонул в грохоте шквала. Пронзительно, как свист ветра, заголосили женщины.

Капитан встал. Налитыми кровью глазами в упор взглянул на уполномоченного, точно впервые увидел его. Тот сидел, закинув ногу за ногу, иронично поигрывал носком сапога.

Хор умолк. Капитан налил полный стакан. Глядя на него, налили подчиненные.

"За здоровье... — Он обвел взглядом всех. — За здоровье таища..!" — рявкнул капитан. Он назвал имя того, за которого выпивала сегодня вся страна, и молниеносно, могучим жестом опрокинул все в рот. Стаканом — крепко об стол. Озабоченно, нюхая волосатый кулак, обежал глазами стол, нашел селедку. Вилкой — тык! Сел жуя.

Напряжение спало. Кто-то добродушно корил соседа:

"Э, нет, Василь Васильч, давай до дна. Такой тост!"

"Вась, а Вась, — сказал начальник КВЧ. — Васюня... Выдай-ка для души".

Патефону отвернули шею, и командир взвода, тот, который начальствовал над гавриками, с задумчивым видом уселся с гармонью у свободной стены. Он склонил голову набок; гармошка издала жалобный, жестяной звук; пискнули верхние регистры. Командир взвода, согнутый над мехами, тряс вихрами и топтал сапогами.

"Едрить твою!.." Анька Никодимова, бухгалтерша, раскинув руки, с места рванула цыганочку. Едва дыша, она встряхнула волосами, обожгла мужиков всплеском полных грудей и мелко, дробно застучала литыми ножками. Под платьем мелькала ее комбинация. Так, мелко перебирая ногами, Анька подъехала к уполномоченному, развела руками и, плеснув в ладоши, грохнула каблучную дробь. Уполномоченный встал, тоже развел руками, выпятил грудь и пошел на Аньку.

"Лушка!" — прохрипел капитан Сивый, не спуская с бухгалтерши выпученных глаз, и притянул к себе жену.

Веселье шло полным ходом; гармонь заливалась как сумасшедшая. Начальник КВЧ, в расстегнутом кителе, пошел вприсядку. Подле него, загнув кренделем руку, молча тряслась тяжеловесная супруга.

Глава 3.

Осенью 1951 года рабочее время уже было ограничено законным пределом, и конец работы был такою же священной минутой, таким же долгожданным событием каждодневной жизни, каким он всегда был и останется для большинства людей на свете.

Рабочий день кончился. Теперь все спешили. Мешок времени, который они тащили на плечах весь бесконечно тянувшийся день, прорвался, но теперь это было не казенное и никому не нужное, а свое, кровное время, и каждая минута стала необыкновенно дорога. Все торопились: и рабочие, и те, кто их сопровождал, и незачем было кричать им: "шире шаг" и "не растягивайся", — в сущности, они сами гнали перед собой тех, кто должен был их вести. Положенное предупреждение было пролаяно наспех и кое-как, до задних рядов донесли обрывки какой-то тарабарщины: "пытку к обеду, вой... меняет уши..." — на самом деле говорилось, что за попытку к побегу конвой применяет оружие. Никто не думал бежать, да и никто не слушал: торжественность этой формулы выдохлась от ежедневного повторения; как всегда, головы людей были низко опущены, но не оттого, что все были удручены зловецким напутствием, а потому, что надо было внимательно смотреть под ноги, чтобы не споткнуться на шпалах, не отстать от соседа и не налететь на идущего впереди. В сумерках уходящего дня толпа арестантов, одетых в однообразно-серые рубища, почти бегущих друг за другом, семена по шпалам, точно перебирая лапками, и как будто поджав хвосты, напоминала издали полчище крыс, спасающихся от потопа.

Рабочий день кончился. И теперь, когда они шагали, понуриив головы, все вместе — командиры производства

вперемешку с бригадной рванью, — теперь они были равны между собой. В любого из них голос с лающими интонациями безнаказанно мог швырнуть бранный мат, и команда ложиться, если бы она раздалась, не сделала бы исключения и для самых высокопоставленных. И хотя редко бывало это во время вечернего марша, когда и конвой дорожил каждой минутой, потому что для него она тоже была своя, а не казенная, самая эта возможность расправы, одинаковая для всех, объединяла людей.

Единая мысль и общее желание вели вперед колонну, и такова была сила этой толпы, что последние ряды влеклись за ней уже как бы невольно, лишь бы поспевать перебирать лапками; и задняя пара конвоиров, путаясь в полах шинелей и тоже глядя вниз, с опустившимися дулами автоматов, почти бежала следом за равномерно покачивающимся и неудержимо уходящим вперед строем серых бушлатов.

В толпе царило усталое возбуждение — подобие радости. Позади был день, проведенный в трясине снега, воды и грязи, — и тем ощутимей было блаженство вольного шлепанья разбухшими валенками по твердой дороге. Короткая брань, ухмылки, мелькавшие на кирпичных от загара лицах, выражали некую степень благодущия, на которую еще способны были эти иззябшие души, готовность потерпеть и пройти сколько надо — ведь шагать не работать, — когда наконец впустят в огражденную частоколом зону и можно будет сесть за столы.

В этом предвкушении, изнеможенные, они были расположены к небывалым надеждам. Фантастические слухи волновали толпу, обрывки мифологических известий, слухи об отмене уголовного кодекса, о болезни Вождя наплывали волнами, как запах пожара; вдруг охватывало предчувствие, знание о чем-то, еще не опубликованном; сладкая дрожь пробегала по рядам, ждали знамения, чуда. То вдруг узнавали, что вышел приказ — не рубить больше лес. То шла молва о войне. То об амнистии.

Но лес по-прежнему падал под пулеметное стрекотание пил, и завтра, и послезавтра — все так же на складе вы-

сились штабеля и грузились составы. Вождь был здоров и не старел, судя по портретам. А война тлела где-то очень далеко и не сулила им избавления.

Они грезили о возмездии. Мечтали: загремит засов, распадутся ворота — и толпа, объятая злобной радостью, выбежит из постылой зоны и забросает п с а р н ю и всех начальников сухим, окаменевшим говном.

Ведь должен был кто-то отвечать за все это!
Но кто был в этом виноват?..

Однажды проломилась доска в отхожем месте, и человек упал в яму. Он упал и барахтался там, покада не собралась толпа. Задышающегося, очоленевшего подбд- ривали:

"Не тушуйсь, Рюха, небось не привыкать. Гребн к берегу!"

"Поплавок, едрить твою!"

Другие были восхищены:

"Сука! И не тонет!"

Выломали длинную лежню из лежневки, проложенной позади выгребка для телеги ассенизатора, сунули в пролом, и несчастный вылез со зверскими ругательствами. Он стоял посреди пустоты, развесив руки, и на чем свет стоит поносил "суку-помпобыта".

Но помощник по быту был не виноват. Сколько раз он докладывал капитану, что помост сгнил.

А капитан? Он тоже был ни при чем: из управления спущен был приказ — перевести бригаду плотников в другое место, а кроме них, никто не имел права входить в зону с гвоздями и топорами.

Управление тем более было не виновато: оно действовало по нужде, а не по злой воле; оно было частью сложного механизма и вращалось вместе с ним. Итак, чем дальше, тем очевидней было, что ни один начальник и вообще никто, в частности, не виноват. Везде и во всем зло и насилие имели почти сверхъестественный, анонимный и непод-

властный людям характер, хотя в то же время были строго организованы. Конус уходил ввысь, в облака: на его вершине восседал Вождь. Но разве мог он отвечать за подгнившие доски?

Глава 4.

В сиянии тусклых лампочек, висевших над частоколом и вахтой, они стояли перед раскрытыми настезь воротами и со злобой и завистью смотрели на музыкантов, исполнявших марш Военно-воздушных сил: "Все выше, и выше, и выше" — знакомый с детства мотив. Их все еще пересчитывали, без чего невозможно было впустить в зону.

Но это были последние минуты. И когда, толкаясь и обгоняя друг друга и крича прорвавшимся вперед, чтобы заняли местечко, люди побежали мимо барачков, не заходя в них, к столовой, когда началась драка у дверей и наконец впихнулись в полутемный зал, пролезли между скамьями и уселись плечо в плечо, шапка между ногами, — тогда настал конец их недолгому равноправию. В парном тумане краснорожие подавальщики потащили подносы с четьрьмя этажами мисок в дальние углы, откуда сто голо- сов орали им номер бригады. Доверенные старосты получали в окошке пайки хлеба. Тогда вступил в действие непреложный закон лагеря, по которому блага жизни стро- жайше отмерялись в точном соответствии с сословным положением. Кому положена была глыба, кому кирпичик.

Никто этим не возмущался. Никого не удивляло, что помощник бригадира, который день целый ходил да покрикивал, и учетчик, который чиркал карандашиком, и ражий художник, могучего вида дядя, что малевал лозун- ги, загибают в мисках густую жирную жижу, а кто рабо- тал, у п и р а л с я р о г а м и — вылавливает картошин- ки из зеленой воды. Никто не видел странного в том, что бригадира теперь вовсе не было среди них. Все знали — бригадир сидит в теплой кабинке, с мастером леса, наряд-

чиком и помпобытом, и все трое едят жареное и журчащее на большой сковородке. Не то чтобы власть и авторитет даны им были для того, чтобы есть жареное, но, скорее, наоборот: авторитет их зиждился на том, что они сидели в тепле и ели жареное.

Зычный голос раздался из амбразуры, староста сорвался с места и воротился с миской желтых и осклизлых килек. Он протискивался между рядами и шепотью молча и серьезно клал на стол перед каждым кучку тусклых рыбок. И хоть не было бригадира, хоть помощник сидел далеко во главе стола, староста знал в точности, кто из сидящих — человек, а кто букашка: кому клал полной горстью, кому пальцами. Люди с наслаждением глотали кильки с головами и хвостиками. Зубами утопали, как в глине, в хлебном мякише. (У себя в закутке хлеборез поливал буханки водой, чтобы они весили тяжелее.)

Доставали ложки: из-за пазухи, из валенка, из ветхих ватных штанов. У кого была железная, у кого деревянная, у кого и самодельная из обрубков. Это были странные сооружения, металлические обломки, насаженные на деревянные, огромные, не помещавшиеся во рту, или слишком маленькие, которые могли бы уместиться в ноздре. Склонившись над столами, все молча ширкали ложками, — длинный ряд согбленных спин. У некоторых ложек не было вовсе, — ложки крали, как и все прочее, — и они пили, обжигаясь, через край, догребали обмылки картошки коркою хлеба. Потом поднимали миски и, закрыв почерневшей оловянной миской лицо, как близорукий держит книжку, сопя и задыхаясь, страстно высасывали остатки.

Но, как низко ни находились они на общественной лестнице, под ними были другие, еще низшие. Вдоль стен стояли мисколизы, мрачными провалившимися глазами смотревшие на едоков. Здесь была своя конкуренция, от одного п р и д у р к а могло остаться больше, чем от всего стола работяг: от тех-то ничего не оставалось. Миски, измазанные кашей, рвали друг у друга из рук.

Их ждал ночлег, блаженная минута, когда голые черные ступни одна за другой карабкались на скрипучие нары, возились и умиротворялись там. В бараке, вернувшись из столовой, вся бригада сидела на полу; кряхтя, стаскивали с ног валенки из эрзаца, тесные в голенищах и растоптанные внизу, с загнутыми, как полозья, носками. Разматывали сырые портянки и зубами разгрызали завязки штанов. Занималась очередь за окурком:

"Ты! Покурим".

"Покурим, морда...".

"Корзубый, покурим!"

Так дымный чинарик, кочуя из уст в уста, превращался в ничто между пальцами, в искру, угасшую на потрескавшихся и обросших шелухой губах. Покурив, выпрастывались из набухших портов, оставлявших лиловые пятна сзади и на коленках. Старик дневальный, нацепив груды одежды на коромысло, собрался нести их в сушилку.

В это время в репродукторе, висевшем на столбе, раздался звук, похожий на треск разрываемой бумаги. Кто-то подул в микрофон, и на всю секцию разнесся бодрый голос начальника культвоспитательной части, начавшего вечернюю передачу. Говорилось о выполнении плана. Стараясь подражать обыкновенному радио, ежедневно гремевшему о трудовых успехах, начальник говорил о них так, как будто они были обыкновенные рабочие и работали в обыкновенном лесу, и поэтому возникало подозрение, что обыкновенное радио на самом деле говорит о заключенных. Но и тут ежедневное повторение одних и тех же призывов сделало то, что люди стали к ним нечувствительны. Все жались к печке, к ее теплому брюху. Несколько человек сидело на корточках перед дверцей, протянув ладони, устремив глаза на огонь. На одну короткую минуту все почувствовали себя одной семьей. Начальник умолк, и оркестр, сидевший там наготове, грянул "Все выше". Внезапно, заглушая радио, в сенях загремели сапоги. Люди вскочили и выстроились на вечернюю поверку.

Поздно ночью один дневальный сидел за столом, понуря голову, под тусклой лампочкой, окруженной туманом. В углу, за печкой, старик Корзубый играл в рамс самодельными картами, которые стоили две пайки хлеба. Корзубый был совсем без зубов, с седой бородой: хотя на голове иметь волосы было не положено, о бороде в лагерных инструкциях ничего не говорилось. Игроки молчали, и от туда слышалось лишь шмыганье носом и тихий скрип нар. Потом храп спящих вокруг людей, усиливаясь, как непогода, заглушил все звуки.

Глава...

...И тогда на краю болот, занесенных снегами, появился Беглец.

Лагерный эпос знал свои блуждающие сюжеты и свои вечные образы. Тут был доходяга-пеллагрик, герой анекдотов, прозрачный и шелестящий, как крылышко стрекозы. И неунывающий Яшка-бесконвойник, лагерный Ходжа Насреддин. И начальник-джин. И герой производственник, гигант с формуляром, он толкал руками вагоны, носил деревья на плечах, он своими ногтями вырыл в земле Волго-Дон. Но ни один герой не был так живуч, ни одно сказание не передавалось, не пересказывалось с таким упорством, как это.

Никто даже не сомневался, что Беглец существует на самом деле. Одинокая фигура, раздвигающая колючий подлесок, бредущая, как мираж, по-осеннему зимнему полю, хоть убей, маячила вдалеке, и всегда находились очевидцы, уверявшие, что — сами, своими глазами, вот как от меня до того поля! — или хотя бы слышавшие, но зато уж от несомненных свидетелей. То был некто без имени, без возраста, "не то чтобы уж очень молодой", "не старый", "вот как ты, чуть повыше", "ж... вислая", "идет, оглядывается", некто, не слышащий окриков и, как утвержда-

ли, неуязвимый для пуль. Рассказывали: ночью он следил из чащи, как вели на станцию погрузколонну. Рассказывали: однажды солдат-азербайджанец, в морозную полночь дремавший на вышке в бараньем тулупе, открыв глаза, увидел его совсем близко. Значит, и псарня верила в него. Опомнившись, солдат дал очередь. Человек-волк повернулся, побежал и скрылся за углом конюшни; и следов крови не осталось. Итак, вновь и вновь легенда возрождалась под видом события, происшедшего недалеко от нас и недавно. Слухи, сочившиеся, как подпочвенные воды, питали ее. Все рассасывалось в студнеобразном времени — сенсационные параши, вести о групповом побеге с концами, во главе с каким-то майором, бывшим Героем Советского Союза, рассказы о целом транспорте заключенных, ушедшем в Японию, о восстании на Севере, подавленном с самолетов, во время которого ушло в разные стороны сразу несколько сот человек. Все тонуло в мертвой зыби вседневного существования и, поволновав, исчезало из памяти, не оставив следа, а лживая басня была жива, тлела в сердцах и торжествовала победу, над правдой, угасавшей и рассыпавшейся в прах.

Но начальство-то знало, что ни одного непойманного и неразысканного, по крайней мере в нашей округе, не числилось. Оно, начальство, знало, что открой сейчас ворота — и то не каждый побежит. Потому что бежать некуда. И, однако, удивительным в этой басне было не то, что Беглец так и остался не пойман, что никто нигде не донес на него и, неопознанный, он ускользнул от местного, областного и так далее розыска, профильтровался сквозь все фильтры и даже лагерного тряпья не сменил, а удивительным было то, что он вернулся. Он вернулся, но не с простреленными ногами, как все они возвращались, не изорванный собаками и не исполосованный до полусмерти. Он вернулся сам. По доброй воле. И каждый из тех, кто день за днем, разбуженный зычным матом нарядчика, слезал с нар и садился на пол обматывать ноги портянками, кто пил баланду в выстуженной за ночь столовой и влекся в крысиной толпе по

шпалам в рабочее оцепление, каждый с тоской думал о том, что даже тот вернулся в страну Лимонию, кого никто не поймал. Очевидно, что тут скрывалась некоторая мораль. Быть может, она и была единственной правдой.

Беглец вышел из леса. Перед ним лагерь скорби вознесся в кольце огней, обнесенный глухим частоколом. Никого не было видно, никого не слышно. С угловой вышки бил по запретной полосе прожектор. В стороне мерцали редкие огоньки поселка вольнонаемных. Он прошел вперед два-три шага и провалился в снег. Осмотрелся полным тоски взглядом. Лагерь, сияющий огнями, был мертв — ни единого звука не доносилось оттуда.

Глава 5.

В это время оперативный уполномоченный еще сидел в зоне, в своем кабинете в конце длинного и теперь уже темного коридора конторы.

Ночное бдение придавало особую значительность его трудам. Уполномоченный был занят тем, чем обычно бывает занято начальство, — перелистыванием бумаг. Но, как известно, он не был обыкновенным начальством. Посетителя, когда он входил и садился в углу на особый стул, охватывало, при виде папок с делами и нависших над ними золотых погон, сосущее чувство беспомощности, одиночества и мистической вины.

Сам начальник лагпункта не вызывал таких чувств. Длинная, по тогдашней моде, сохранившейся, кажется, еще со времен Дзержинского, великокняжеская шинель капитана Сивого, возвышавшаяся по утрам на крылечке вахты, откуда начальник, как полководец, наблюдал за выступлением своего войска, внушала трепет, но и симпатию. Народная молва передавала полуфантастический рассказ о том, как накануне праздника Сивый распустил из кондея всех сидевших там. А у кума в кондее был организован род образцового хозяйства — подследственные сидели по

камерам в тонко продуманных сочетаниях. Капитан разогнал всех. Утверждали, что доходягам, недостаточно быстро выбиравшимся, досталось еще и пинком под зад. Воображение людей пленялось этим свирепым великодушием. Хитро-безумный взгляд слезящихся оловянных глаз и алкогольный юмор заключали в себе нечто родное. Самое имя капитана звучало как лагерная кличка. И возникло странное единение начальника и народа перед лицом тайной власти уполномоченного.

Уполномоченный походил на оживший плакат: пустое мальчишеское лицо, белесые волосы. И не было у него ни имени, ни фамилии, а только прозвище, и это прозвище — к у м — обозначало нечто большее и высшее, чем обыкновенное человеческое существо. Ибо это был дух, который мог сидеть за столом и писать протоколы, а мог и летать в ночи, распластав когтистые крылья.

На стене ровно и безостановочно постукивали часы. Черно-серебряные сапоги уполномоченного поигрывали под столом. Уже целый час прошел с тех пор, как он сверил установочные данные — то есть фамилию, имя, год рождения, номер статьи и срок. В углу на стуле сидел Степан Гривнин, сучкожог, судя по обгорелой вате, торчавшей из дыр его бушлата, — и медленно погружался в свой стул. Ошеломление первых минут прошло, — в тепле и тишине, под брызжущим светом, преступник оцепенел, как жук, уставший дергаться на булавке. Впрочем, неясно было до сих пор, зачем его вызвали.

Гривнин не принадлежал ни к одной из лагерных корпораций — следовательно, мог служить примером тех, кто составлял лагерное большинство: одиноких, оторванных от всего и чуждых друг другу людей. Он не был ни блатыным, ни цветным, ни махновцем, ни варягом, он не был жучком, шоблой, полуцветным, духариком, не шестерил ни вора, ни вельможам, для этого он был слишком туп и мрачно-замкнут и не мог рассчитывать на чье-либо покровительство. Гривнин был просто "мужик" — в лагерном и в обыкно-

венном смысле этого слова. Босой и нагой в своем прожженном бушлате, вислозадых ватных штанах и разрушенных валенках, козьявка, нуль, ходячий позвоночник — вот кто он был, и они могли с ним делать все, что хотели.

Кто — они? Безжизненное железо, безымянное высшее начальство, те, для кого даже кум, даже начальник лагпункта были только исполнителями, "шавками", как он презрительно называл их про себя. При мысли о высших силах в сознании брезжили не лица и голоса, а лишь ряды блестящих пуговиц под фуражками и похожие на бастионы столы, над которыми они возвышались. Этому начальству, чтобы повелевать, не нужно было и показываться на люди; в своих дворцах они сидели и молча кивали лакированными козырьками, и одного такого кивка было вполне достаточно.

Гривнин не помнил за собой ничего такого, что он согласился бы считать преступлением, да и не старался вспомнить. В тюрьме он как-то сразу удостоверился, что все, что с ним происходит, — обман. Настоящее, действительное дело, от которого зависела его судьба, вершилось где-то в тайне на других этажах, а то, что происходило здесь — допросы и протоколы, — было просто видимостью дела. Все они: и следователи, и начальники следственных отделов, и начальники начальников, и сами арестованные — все были участниками этой общей формальности, и было бы странно и неприлично, если бы кто-нибудь заартачился и нарушил заведенный порядок вопросов, ответов, составления и подписывания бумаг и дальнейшего их движения по кабинетам, как странно и неприлично для актера говорить в пьесе не то, что сочинил для него автор.

Гривнин был убежден, что все это в конечном счете имело только одну цель — заставить его больше работать. Вол, обреченный всю жизнь обливаться вонючим потом, — вот кем он был для них, и на лбу у него написано — у п р а т ь с я р о г а м и . Но им, сколько ни работай, все мало. Вот потому-то и придуманы следователи, столыпинские вагоны и лагерь. А какую тебе пришлют статью, не имеет значения. Так или примерно так думал Гривнин.

Раздался скрип — уполномоченный писал, улегшись грудью на бумаги, и носки его сапог задрались и замерли в выжидании. Он писал заключение по рапорту командира взвода о том, что колхозницы из деревни тайком носят стрелкам самогон.

Но сидевший на стуле ничего этого не знал и, внимая скрипенью пера, был волен строить любые догадки о том, что его ожидало.

Гривнин совсем осоловел. Он почти спал, угревшись в этом тихом, светлом кабинете, под стук часов и поскрипыванье пера, и даже видел во сне уполномоченного, который хлопал себя по синим штанам и обводил озабоченным взором стол и груды бумаг. Уполномоченный нашел спички, пустил вверх струю дыма и следил за ней, пока она не рассеялась.

"Мда, — промолвил уполномоченный. — Вот так, брат Гривнин".

Говоря это, он сгребал со стола документы, завязывал тесемки папок. Сел боком к столу, нога на ногу, постукал папироску над пепельницей.

"Так, говоришь, зачем вызывали?"

(Ничего такого Гривнин не говорил.)

"Ты на помилование не подавал?"

(Нет.)

"Странно. Вот тут запрос на тебя поступил...". Уполномоченный задумчиво курил. Потом взял сверху чистый лист, твердо зная, что оттуда, со стула, ничего увидеть невозможно.

"Надо на тебя характеристику писать. А какую? Дай, думаю, хоть посмотрю на него, кто он такой...".

Перегнувшись через стол, кум потрянул пачкой "Беломора".

"Кури".

Себе взял новую папиросу. Затянулись оба.

Скорчившись на своем стуле, оборванец сумрачно взирал на уполномоченного. Он не мог подавить в себе тяжелого, тревожащего недоверия к этим погоням, золотым пу-

говицам, блестящим зачесанным волосам с пробором, к этой хищной усмешке. Он ничего не понимал. Но, как собака, не зная слов, по интонациям голоса улавливает смысл речи, так и он почувствовал, что тут — не угроза, а что-то другое. Он знал по опыту, что у "них" ласка бывает хуже ругани. Гривнин ненавидел дружеские разговоры. Доверительность тона мучительно настораживала. В любом проявлении человеческого участия был скрыт подвох. Любая симпатия была заминирована.

Но час был поздний. Тепло и тишина действовали одуряюще. Истома сковала Гривнина. И в этом безволии, в гипнотическом сне, похожем на оцепенение кролика перед полным участия взглядом змеи, дурацкая надежда поселилась в убогом мозгу пленника, противная рассудку, бессмысленная и неосуществимая надежда — что н и ч е г о н е б у д е т . Что лейтенант, заваленный делами, уставший от долгого бдения, не станет ковырять, а поговорит-поговорит — и отпустит.

Не все ж "по делу". Может, ему просто так — поговорить захотелось.

"Мда... — сказал уполномоченный. — Из дому посылки получаешь? Сало-масло, м?"

(Что он — придуривается? Посылки запрещены.)

"Я могу разрешить".

(Пустое. У Гривнина все равно никого не было.)

Помолчали.

"Э, брат Гривенник, не тужи, — снова заговорил уполномоченный. — Мало ли еще как обернется. Сегодня ты в бушлате, а завтра, может, и руки не подашь... Как говорится, кто был ничем, тот станет всем, вот так... Тут, брат, такие события назревают — совещание за совещанием... Ждем больших перемен... Ну, понятно, провести реорганизацию не так просто... Все будет учитываться: поведение, отзывы... На каждого — подробная характеристика... Писанины одной — фи-у! Думаю тебя тоже включить... Ты как, а? Не возражаешь? Хо-хо! Небось по бабе-то соскучился? По бабе, говорю, соскучился? Ух, по глазам вижу..."

Уполномоченный весь сморщился, точно хлопнул стопку водки, и покачал головой. Этот монолог сменился долгим молчанием, в голубом дыму царила железная усмешка лейтенанта, сапог подскакивал, рука разминала окурки в пепельнице. На стене, как сумасшедшие, колотились часы.

"Ну вот что, Степа, — сказал уполномоченный строгим голосом, кладя ладонь на стол, — ты человек грамотный, долго объяснять тебе не буду... Хочешь жить со мной в дружбе — давай. Не хочешь — как хочешь. Мы насильно никого не тянем, учти. Желающих с нами работать — сколько хочешь. Только свистни!.."

(Уж это верно.)

"Я тебе помогу — на общих работать не будешь. Дам отдохнуть. Я так считаю, что ты для родины — не погибший человек. Между прочим, мне лично не нужно твоих услуг, я и так все знаю... А вот для тебя самого это важно, понял? Доказать надо, что ты, того... заслуживаешь снисхождения.

"Твои уши — мои уши. Твои глаза — мои, ясно? Сюда ходить не надо. Будешь писать записки и передавать..." Он сказал — кому.

"А вздумает болтать, — лейтенант подмигнул, — яйца отрежу".

Наклонился и выдвинул нижний ящик стола.

"Ладно, заболтался я с тобой. На-ка вот, распишись".

Это была подписка о неразглашении — узкий печатный бланк.

Уполномоченный рассмеялся.

"Да ты что — это ж ерунда, формальность. Положено!" Дескать, что поделаешь.

Напоследок была подарена еще одна папироса "Беломор". Ночной посетитель выбрался наружу через заднее крыльцо, торопясь и озираясь, но никто его не увидел. Лагпункт спал мертвым сном. В пустом небе стояла одинокая сверкающая луна. Цепь огней опоясала зону.

Гривнин вошел в свою секцию, не разбудив дремавшего за столом дневального, и неслышно прокрался в угол. Там на верхних нарах, задрав голову к потолку, храпел Корзубый на куче тряпья, которое он выиграл в эту ночь.

Глава 6.

Перед войной в деревне, откуда капитан взял себе жену, жил один колхозник по имени Николай Сапрыкин. Все жители в этой деревне носили одну и ту же фамилию. Все мужики были мобилизованы в один день.

На одной телеге поместилось все их войско. Тогда оторвали от себя косматых и плачущих женщин и весь день, с поникшими хмельными головами, тряслись по лесным колдобинам до ближайшего сельсовета. Потом те же чавкающие по болотной жиже копыта потащили их в районный военкомат, и позади них уже тарахтел целый обоз мобилизованных.

Все же странно было, что в суматохе первых недель войны начальство вспомнило, не забыло об их глухой деревне, странно, что и они оказались подведомственны кому-то там кроме леших. Словно здесь уже не было ни районов, ни областей, и окончились все комитеты и военкоматы, и начиналась одна кромешная Русь без звука и проблеска, оцепеневшая под черным ливнем столетий. И, кажись, еще вчера стоял на месте сапрыкинской избушки высокий тын, за тыном — скит, и лесной дух — старик с косматой, как мох, бородой пыхтел на пеньке козьей ножкой.

Уехали мужики — и снова про них забыли. Но не прошло и трех лет, как в высших и тайных конторах, где никто о них и не думал, на громадных государственных картах, где весь их край был большим пустым пятном, родился некий план. Теперь с юга через тайгу к ним тянули узкоколейку.

И вот явились — в накомарниках, с примкнутыми штыками, волоча усталых и отощавших собак. Странное это

было войско, почти все, за исключением командиров состоявшее из черных. Разбившись на кучки возле костров, они со всех сторон окружили болото, где по щиколотки в воде стояла первая партия заключенных. Баб, пробиравшихся домой мимо трясины, отгоняли ружейными выстрелами; вышло разъяснение: строится-де около них большая стройка; сведений не разглашать, к вышкам близко не подходить, за нарушение — поголовная ответственность.

Это значило: смотреть — смотрите, а вслух говорить об этом — ни-ни.

Новые партии прибывали издалека. В тайге день и ночь трещали падающие деревья, мерцали огни костров. По свежей гати начали пробиваться грузовики. Взошло тусклое, кривобокое солнце, и на открывшейся заблестевшей равнине узкой грядкой между кюветами, залитыми водой, протянулась насыпь. Первый свисток изумил слух. Вокруг расстиралось сплошное кладбище пней, это было все, что осталось от леса, а поодаль находилось кладбище для людей.

Так возникло это государство, названное в преданиях века страной Лимонией, в равной мере творение населявших его народов и их проклятье. Дым костров посреди тайги отметил издалека проплешины, на которых оно утвердилось. Комары тучей кружились над грубо сколоченными раскоряками-вышками, — в каждой, как в клетке, стоял, держа оружие наперевес, солдат внутренней службы, довольный тем, что его не послали на фронт. Мошкара облепляла стрелков, стоявших на подножках подходивших составов. Словно старые декорации, поднялись из земли в четырех верстах от деревни замызганные паггаузы полустанка, сараи, заборы и терема. В центре трясины, окруженное вышками, огороженное частоколом и сияющее огнями, словно там был вечный праздник, воздвиглось то, к чему в особенности не рекомендовалось подходить. Теоретически говоря, о нем вовсе не следовало знать.

Но женщины знали — смиренные, они знали то, о чем не знал или не хотел знать весь свет. Они привыкли, проби-

раясь по краю кювета, видеть издали поспешавших по шпалам смуглых вожатых с самопалами поперек груди и следом колышущую серую массу. Новая цивилизация подчинила себе их вековую агонию, и понемногу их сирая жизнь, шелест леса, их певучая речь, манера здороваться с незнакомым встречным, за плечами плетёный короб и вконец развалившийся колхоз — превратились в устарелый, но прочный придаток громадно разросшегося лагерного организма. Они об этом не сожалели: лагерь ободрил их существование. Лагерь поселил рядом с ними тысячи мужчин, одни взгляды которых будили их завядшую молодость. Между тем голод утих, бригады труповозов были распущены, и лагерь смерти мало-помалу превращался в лагерь жизни. Уже не привидения — кирпичнолицые лесорубы шагали по шпалам во главе крысиной колонны. И стрекотание электрических пил, недавно введенных в употребление и неслыханно повысивших производительность труда, грохот падающих деревьев, лай овчарок и предупредительные выстрелы не пугали больше деревенских баб. В своих коробах женщины носили солдатам водку, носили детям хлеб из ларька для вольнонаемных. Лагерь, этот потусторонний мир, самое существование которого было государственной тайной, для них был частью быта. Ни бояться, ни стыдиться его они не могли.

Давно уже тело Николая Сапрыкина смешалось с землёю на полях некогда знаменитой Курской дуги. Тут же рядом полег под тевтонскими минами и весь тот обоз, что катился из их деревни по желтой жиже под рев лихих песен. Семья его между тем жила и прибавлялась. За десять лет, прожитых без мужа, Анна Сапрыкина не то чтобы постарела, а раздалась и осела как бы под грузом; черты лица ее, крупные и нежные, утратили определенность, глаза стали меньше и покойнее, углы мягкого рта опустились. Темно-розовая кожа казалась и молодой, и немолодой.

День Анны Сапрыкиной начался, как всегда, до рассвета: из-под занавески высунулась ее белая и полная нога, на-

щупала шаткую лесенку; в темноте Анна слезла с лежанки, отыскала в печурке спичечный коробок, прошла, разминая сухие, ороговелые пятки.

Толстыми пальцами она выбрала спичку, чиркнула — вверх взвилась лента копоти, она подкрутила фитиль. Осветились стол, лавка, большая печь, стали видны старые фотографии, часы-ходики и сама Анна в рубашке, с тощей косицей, мягколицая, с большими, точно испуганными глазами. За ситцевой занавеской наверху спали дети.

Она прошла за печку, прикрывая рукой красноватый червячок коптилки. Жестяным блеском засветился в углу прадедовский пожелтый образ. Под ним мерцал пустой подлампадник. Огонек освещал белые руки Анны, поднятые к затылку, рот со шпильками и в провалах глазниц блестящие заспанные глаза. "Мати пресвятая, — шептала она, и шпильки шевелились у нее во рту, — богородица ласковая...". Тут же, не спуская глаз с иконы, она совала голые ноги в валенки. Потом из-за ситцевой занавески, закрывавшей кухню, слышно было тихое бречанье умывальника.

Выйдя оттуда, она полезла на лесенку, натянула латаное одеяло на спящих. Старший лежал на спине с открытым ртом, сжав кулаки. Маленькие сопели, уткнувшись головами друг в друга.

Анна встала коленками на край печки и достала с трубы чулки и портянки. Задела что-то — посыпались старые валенки, пересохшие сморщенные носки, и из-под лесенки стремглав вылетела перепуганная кошка. От ветоши шел крепкий сухой дух, напоминая запах подгорелых сухарей. Она сняла с гвоздя полушубок и вышла, хлопнув тяжелой дверью, отчего на столе вздрогнул и заметался язычок коптилки, повевая, как кисточкой, струйкой копоти. В сенах ни зги не было видно, но она уверенно нашла дверь, выбралась на крыльцо, в сиреновой мгле обвела сонными глазами свой двор, сарай, полуразрушенные ворота. Тишина и сон царили кругом. Тишина и сон были в душе Анны. За ночь прибавилось снегу. Изба стояла на краю деревни, за воротами начинался лес.

Она воротилась в избу, продрогшая, заткнув рубашку между ног. Оделась. Подтянула гирьку часов, задула огонь.

Дети не проснулись, когда снова со скрипом и пением раскрылась и захлопнулась за нею дверь. Анна шла по узкой тропе между елями, погружаясь в серый, как простокваша, рассвет, опустив глаза, полная сдержанного, дремотного достоинства. В платке, надвинутом на брови, из-под которого еще выглядывал белый платочек, в изношенном полушубке, под которым у нее была надета старая лагерная телогрейка, она была как все женщины этих мест, где молодухи казались старше своих лет, а пожилые и многолетние выглядели молодо. Так она шла, пока не расступился лес и открылась широкая и грязная полоса проезжей дороги, по которой полчаса тому назад прошагала производственная колонна.

За колонной должны были следовать отдельные штыки. Ждать не пришлось, наоборот, ее ждали. "Стой, кто идет!" — закричал голос с восточным акцентом, раздался свист, и Анна медленно вышла из-за деревьев. Внизу стояли два бушлатника, они были точно два коня, которым крикнули "тпру". В руках у них были инструменты, на плечах висели мотки проволоки. (Один из них был Гривнин.) На десять шагов сзади, как положено, стояли два конвоира. Свидание происходило на лесной опушке, там, где деревенская тропка выходила на большак, ведущий к железной дороге.

"Чего раскричался, аль не видишь?" — она отвечала, взойдя на пригорок, едва заметным движением выставляя себя и ровно, и радостно сияя серыми глазами.

"А я забыл!" — сказал солдат.

"Вспомни".

Их разговор напоминал диалог двух актеров.

"Хади ближе — поговорим".

"Не об чем нам с тобой говорить, ступай своим путем".

"Погоди! Не спеши!"

"Погодить не устать, было б чего ждать. Вон, — сказала она, — начальник едет".

"Зачем начальник? Какой начальник? Я сам начальник. А-а, хийлакар гадын, хитрий баба!.." — закричал смуглый стрелец, пожирая Анну черными и жирными, как две маслины, глазами.

Глава 7.

...Такова была жизнь в невидимом, как град Китеж, таежном государстве, и, хотя с точки зрения его подданных она была обесмыслена раз навсегда насилием и несправедливостью, на которых было основано все его существование, жизнь эта на самом деле была частью все той же, обнимавшей всех, общенародной жизни. И здесь не менялся однажды заведенный, размеренный порядок трудов и отдыха, и такими же будничными и необходимыми казались повседневные дела людей; даже погода стояла все время одна и та же, и время словно замедлилось: казалось — пока на других континентах сменяются годы и десятилетия, здесь по-прежнему тянется все тот же единственный, бесконечный год.

Все так же день за днем торопились смуглые провожатые за уходящими вдаль четверками серых спин по шпалам железной дороги, похожей на лежащую лестницу. Все так же везли следом за ними прессованное сено в брикетах, напоминающее паклю; повара несли мешки с крупой-сечкой для лесорубов; в утренней мгле проплывали друг за другом, как призраки, костлявые кони, опустив крупные головы, автоматически переставляя копыта и тряся грязными, как мочала, хвостами. Последний одер, долговязый и костистый, с бесконвойным конюхом на продавленной спине, качался в хвосте колонны, и все громадное шествие медленно удалялось, тонуло в серо-молочных далах, лишь кромка леса все отодвигалась и отодвигалась с каждым месяцем от лагпункта.

Там тоже все шло по-старому. Озябшие часовые на вышках топотали подшитыми валенками и пели песни. По утрам зона курилась дымками. Жгуты белого дыма, казав-

шегоса плотным, точно паста, выдавленная из тубика, поднимались из труб, по три пары над каждым бараком, и во всех шести секциях босые дневальные с подвернутыми штанами равномерно стучали швабрами, гнали по полу грязную воду. Почти все дневальные были инвалиды, кто сухорукий, кто с одним глазом, кто старый до явного неприличия. В этот ранний час помпобыт — бригадир дневальных — еще спал в своей кабинке. Спали завскладом, культорг и прочая п р и д у р н я . Бухгалтерия, слезно зевая, в холодных комнатах конторы разворачивала бумаги, брякала костяшками. В это время со скрипом отворялись малые ворота в ограде, которою был обнесен штрафной изолятор, надзиратели вели в камеры длинную вереницу отказчиков от работы (бухгалтерия, поднявшись из-за столов, смотрела на них в окна конторы).

Дневальные торопились. Запасливые выволакивали из тайных закутков самодельные сани. Заматывались в тряпки, подвязывались вервием. Натягивали латаные рукавицы. В девять часов всем надлежало собраться у вахты, их выводили за зону на заготовку дров.

В девять ровно во главе пустой бочки въехал в зону одетый в ржавое рубище пахан — ассенизатор. Вслед ему брел в зеленом солдат, отвечавший за лом и лопату. На дне бочки у старика был запрятан подарок помпобыту за легкую работу — поллитровка, купленная у баб. Старик поехал по лежневке к дальнему бараку. Вахтенный надзиратель хо-зяйственно запер за ними ворота.

Повсюду: в пекарне, в прачечной и на кухне — уже кипела работа; в столовой бодро таскали воду в котлы; люди дорожили своим местом. В бане, где он числился кем-то, лагерный портной, семидесятилетний Лева Жид, похожий на евангелиста, с утра кроил зеленые галифе для важного придурка.

... Как смерч, летела по зоне весть о грядущем Сивом. Капитан со свитой обходил владения. И перед призраком его долгополой шинели каждый ощущал себя одинокой козявкой, каждый — был точно путник в лучах несущихся

навстречу испепеляющих фар: под радостно-грозным, безумным взглядом выпученных слезящихся глаз самодержца и великого князя. Кто мог, спасался бегством — еще не успев провиниться, заранее чувствуя свою вину. В чем? — да в том, что сидит в зоне, за оградой, в тепле, а не марширует на о б щ и е ; в том, что живет, наконец.

Из-за углов, из окон подсматривали, куда повернет капитан. Капитан шествовал по центральному трапу. Трап был расчищен, разметен, уставлен справа и слева щитами с патриотическими лозунгами. Не дойдя до столовой, капитан свернул и зашагал вдоль барачков, мимо темных безмолвных окон. Смерч сметал все на его пути. Вдали случайный дневальный улепетывал в секцию.

В секции за печкой, в покое и на свободе возлежал Козодой, лагерный философ, писарь, астролог, хиромант и ч е р н у ш н и к — род сказителя. Кругом на нарах отдыхали еще двое-трое... Шел неспешный разговор.

Козодой полсрока просидел в кондее, остальные дни ошивался в санчасти. Там часами тер ладонь о ладонь: повышал температуру. За дешевую плату писал жалобы и просьбы о помиловании, предсказывал судьбу по ладони, по полету мух. Раскидывал ч е р н у х у о новом кодексе, об амнистии. Никто не верил, но слушали охотно.

Козодой повернулся на куче тряпья, поскреб пятерней между тощими половинками зада.

"Эх вы, — сказал он. — Хренья моржовые, дармоеды, дерьмееды. Да чтоб вы делали на воле? — луну доили, пупья чесали? На воле работать надо, шевелиться. Тити-мити зарабатывать. На воле как? Пожрал — плати. И пос...л — плати. За бабу — плати. За все плати! А здесь тебе и хлеба пайка, и баланда, и очко в сортире завсегда обеспечены. Лежи, не беспокойся. — Козодой сладко потянулся. — А баб нам не надоть!.. Нет, братцы, — заключил Козодой свою речь, — ни хрена мне вашей свободы не надо".

Вбежал дневальный, обрушил на пол охапку дров: "С и в ы й и д е т !"

Больные вскочили, вперили в дверь перепуганные, вопрошающие взгляды. В сенях уже гремели шаги...

Глава 8.

Никто не знает, чем люди руководствуются в своих делах, но обычно считается, что каждый соблюдает свой интерес. Исходя из этого, и другие оценивают его поступки: так они становятся понятны; если же не понятны — значит, интерес где-то в глубине. И никто не догадывается, что для него наступила единственная, божественная минута.

Для каждого человека когда-нибудь наступает минута, когда он чувствует, знает, что поступает бессмысленно. По-настоящему — он знает — надо бы поступить как раз наоборот; в крайнем случае — ничего не делать. Но уже поздно. Тайный демон подзуживает его прыгнуть в пропасть, шепчет: не разобьешься, а полетишь. Абсурд притягивает его, как магнит железо.

Дорого стоит ему эта минута. Но в эту минуту он — Бог.

Несколько недель подряд Гривнин ходил на работу в отдаленный заброшенный квартал. Когда-то там находился лесосклад. Час туда да час обратно, и работа неспешная: не то что в бригаде, где свои же товарищи жмут из тебя сок ради лишних процентов, где чуть замешкался — помбригадира тебя кулачищем между рог! Гривнин был доволен. Спасибо уполномоченному.

Ветка к складу была давно разобрана. Осталась насыпь, по которой они брели вчетвером, увязая в снегу. Справа и слева от дороги виднелись полусгнившие остовы штабелей и клетки забытых почернелых дров. В буртах невывезенного реквизита еще можно было откопать крепкие жерди, годные для опор высоковольтной передачи.

Дул свирепый ветер. Невдалеке, над поломанной, заметной снегом куртиной отчаянно мотались голые и одинокие сосны. Над ними неслись сиреневые облака.

Гривнин с напарником разгребали комья мерзлого снега. Обухом и вагой выламывали из-под наледи оплывшие черные кольца и жерди.

Они хоть шевелились... А конвоиры сидели, прижав к щеке самопалы, и полы их шинелей хлопали, как паруса. Мрачные и нахохленные, они молча глядели на бессильно бьющееся, бесцветное пламя костра. Курили и цыкали слюной. Огонь едва вылизывал из-под сырых плах. На торцах пузырилась пена.

Невольники, — что те, что эти. Одной цепью скованы. Недобрая мысль шевелилась за низко опущенными лбами, под ушанками с железной звездой. В пустыне снега, на остервенелом ветру проклятье принудительного безделья было для них, как для тех двоих, — проклятье труда. А кто виноват?..

"А-а, мать их всех, с ихней работой!" Имелось в виду неопределенное начальство. Смуглый Мамед сплюнул в огонь.

"Айда! Кончал базар". Он первым поднялся. Оба поняли друг друга без слов. Решительно наставили воротники шинелей. Автоматы — через плечо. Заключенным: "Съём!" А те и довольны.

Перешагнув через бурты, все четверо полезли вверх по глубокому снегу. И снова по насыпи. Шли долго. Потом насыпь кончилась. Перебрались через овраг, медленно поднялись по склону и снова шли, четыре черных фигурки, не соблюдая дистанции, автоматчики впереди безоружных. Наконец показались угластые крыши, черные окна изб отсвечивали, как слюда. Деревня казалась вымершей. Откуда-то выкатилась с пронзительным лаем косматая собачонка, но сейчас же умолкла и, подняв завитушкой хвост, затрусил боком прочь. Оглядевшись, они вошли в ворота крайнего дома. Поднялись на крылечко. Столбики, подпиравшие кровлю, были источены червяком, почернели и потрескались, точно старые кости. Один за другим они нырнули в полутемные сени. Там была другая дверь, в лохмотьях войлока, с хлябающей скобой.

Со стоном поехала тяжелая дверь, и, как весть из чуждой страны, как два апостола, — два бушлата встали на пороге. Сдернули ушанки, обнажив сизые головы. Тотчас

сильные руки втокнули их в горницу: два стрельца, головой вперед, красные и иззябшие, гремя сапогами и самопалами, ввалились в избу.

"Хазайка! Принимай гостей!"

Анна, словно во сне, поднялась навстречу... В избе, с низким потолком, с большой печью, от которой шел легкий, сухарный запах пересохших портянок, и сухо шелкающими ходиками, было тепло и затхло, как в сундуке. Сверху, с лежанки, на пришельцев уставились молчаливые дети.

Грохнули об пол кованые приклады, Мамед уселся на лавку, по-хозяйски вытянул из разлтых штанов жестяной портсигар. Заключенным велено было сесть на пол. На ходу стирая с губ крошки семечек, точно проснувшись, хозяйка бросилась за занавеску. На столе воздвиглась бутылка темно-зеленого стекла. Анна, в чистом белом платочке горошком, несла на двух тарелках угощение.

Напарник подле Гривнина, угревшись, посапывал, его наголо остриженная и лысеющая голова свесилась на грудь. Наискосок от них был стол, под столом висели в домашних вязаных носках и бумажных чулках круглые хозяйкины ноги, с двух сторон от них расставились солдатские сапоги. Белобрысый стрелец, товарищ Мамеда, разливал в стаканы, должно быть, уже по третьему разу. Анна тоненьким голосом задумчиво пела песню. Это была все та же известная, жалостная песня о бродяге, бежавшем с Сахалина. Белобрысый подтягивал, а Мамед, который не знал слов, хлопал в ладоши, притопывал сапогами и радостно скалил свои белые, как сахар, зубы.

От долгого сидения на полу у Гривнина затекли ноги. Он попытался пересесть на корточки. Но его движение было тотчас замечено, голос с южным акцентом скомандовал ему сидеть.

За столом пели:

"Жена найдет себе другого. А мать сыночка — никогда!"

Он снова заворочался, так и сяк пробуя переменить положение. "Сидеть!" — повторил властный голос. "Гр'ын на-

чалник, на закорки, ж... болит!" — заскулил Гривнин; в это время лезгин за столом обнимал красную, как свекла, Анну за талию, белобрысый тыкался вилкой в грязную тарелку, а с печки на них смотрели дети.

Гривнину стало невтерпеж — захотелось встать неудержимо.

"Куда?!" — раскатился голос Мамеда. Волосатый кулак, как кувалда, поднявшись, грохнул об стол. Зазвенела посуда.

"...я сейчас, — бормотал Гривнин, словно жук на булавке вертяться и дрыгая лапами. — Мне на двор, оправиться, гражданин начальник..."

"Какой такой двор, — отвечал грозно начальник, — я тебе дам двор. Сидеть, твою мать, не слезать свое место".

Рука его по-прежнему гладила Анну.

"Х... с ним, Мамед, пушай сходит..." — заметил вяло белобрысый, ковыряя вилкой в тарелке.

Это неожиданно разгневало горца.

"А я говорю сидеть! — загремел он. — Вот я его, суку, за неподчинение законом требованием попитку побегу!" — и он оттолкнул товарища, намереваясь двинуться к оружию, стоявшему в углу, но не устоял и схватился за край стола. Задребезжали стаканы, пустая бутылка покатила и полетела на пол. Мамед плюхнулся на скамью. Второй стрелок смеялся.

"Застрелю всех паскуд!" — заревел Мамед, сжимая кулаки и как будто не зная, на ком остановить огненные, маслянисто-желтые белки глаз. Белобрысый по-прежнему давился от смеха, Анна тоже хихикала и уголком платочка утирала глаза. Вот тогда и произошло неожиданное, необъяснимое, отчего у мальчиков, глядевших с печки, округлились глаза и раскрылись рты; и то, что произошло, они потом помнили всю жизнь.

Жук сорвался с булавки.

Арестант вскочил на ноги, подхватил с полу бутылку, и дети видели, как побелели его пальцы, сжимавшие горлышко.

Он стоял, подавшись вперед, растопырив руки с гранатой, и походил сверху на обезьяну в человеческой одежде.

Смех оборвался. "Ты что, — спросил спокойно второй стрелок, — у х у ел? — Он нахмурился. — Бутылку-то брось. И садись, не тыркайся... Сейчас все пойдем. Эй, Мамед".

Но Мамед не отвечал, не издал ни звука, он начал медленно расти из-за стола, обросшие волосами ручки его вдавились в стол. Под его черным, липким и обжигающим, как расплавленная смола, взглядом преступник сжался, глаза Гривнина забегали, казалось, он растерялся. Но мыслей уже не было: за Гривнина думал его спинной мозг.

Он ринулся в угол. Это случилось прежде, чем они успели сообразить, и он опередил белобрысого, который хотел забежать ему в тыл: он пригвоздил его к лавке, наведя на него дуло. Он стоял один посреди избы, в руках его было смертоносное оружие. Ему достаточно было шевельнуть пальцем, чтобы скосить напрочь мерзкую сволочь! Ха-ха. Гривнин ликовал. Теперь ОН был господином. Сейчас он их заставит лизать языком пол.

Гривнин облизал шершавые губы.

"Беги, земляк", — сказал он монотонно, не глядя на напарника, но зная, что тот глядит на него. Тот, действительно, не сводил с него глаз, полных ужаса.

"Беги! — раздался снова жесткий, холодный голос. — Рви когти, пока не поздно. Терять нечего! Думаешь, они тебя пожалеют? Пожалел волк кобылу".

Тот сидел на полу не отвечая.

Второй автомат висел на руке у Степана, сильно мешая ему; он пытался забросить его за плечо короткими, судорожными движениями; наконец это ему удалось. Все это время он целился в солдат и, сам того не замечая, отступал к порогу. Наткнулся на бутылку, отшвырнул ее. С порога избы правая стена не простреливалась, ее загораживала печь. Он подался влево, по-прежнему отходя осторожными шажками.

"Ты! — крикнул белобрысый. — Стой. Пожалеешь".

"Сучий сын..." — прохрипел Мамед.

Гривнин усмехнулся.

"А ты, — сказал он с наслаждением, держа автомат наперевес, — а ты... поговори у меня, сука помойная, чернозаядая падла".

"Караул! — вдруг завизжала Анна, как будто сорвалась с гашетки. — Люди! Караул! Не пуцу! Стой, ирод! Не пойдешь никуда!" И она вылезла поспешно из-за стола и, со сбившимся платком, бросилась к нему. Степан опешил. Пнул Анну ногой, но она, разъяренная, с пылающим лицом, упрямо лезла на него. Солдаты вылезали из-за стола. Сверху смотрели ребятишки.

Размахнувшись, Гривнин двинул тетку прикладом. Она полетела навзничь.

Гривнин встал на пороге. С силой лягнул дверь.

"Сидеть, суки! — проговорил он зловеще. — Если кто высунется — не отвечаю".

Хлопнув дверью, он выскочил на крыльцо.

В десяти шагах от дома стоял лес. Смеркалось. Свобода!

Раб и потомок рабов! Он был свободен.

Глава 9.

Побег! Бежал заключенный! Ползучий гад, пес смрадный, — это за всю заботу, за даровой хлеб, — за то, что дали ему жить, искуплять вину свою перед народом! А он?! От лагпункта до высших учреждений, от исторгнутого из нирваны алкоголизма, обездоленного начальника спецчасти до угрюмого орла-губернатора всего лагерного государства, кем венчались четыре грани пирамиды, — все ступени, все инстанции исполнились желчи и зажглись гневом, скрипнули зубами и задвигали жвалами, почувствовав необычайное присутствие духа. В гневе, в смятении воротился в зону оперативный уполномоченный, прилетел и повис когтисты-

ми лапами над обтянутым проволокой частоколом, роняя злые слезы, — снизу дежурный надзиратель почтительно отдал ему честь, а стрелок, дремавший на вышке, очнувшись, подхватил на плечо аркебузу, вытянулся во фронт и тоже взял под козырек. В серо-голубой шинели, четко и твердо впечатывая в мерзлый трап каблуки зеркальных сапог, лейтенант шагнул в контору, в кабинет...

Побег! Тревога... С утра на вахте, перед воротами — все руководство. Великий князь мрачен, как грозовая туча. Надзиратели щупают выходящих. Но не так, как всегда. Не томным взмахом ленивых рук, прогулкой по ребрам пальцами баяниста, привычно, для виду и кое-как. Тут лопаются одежда, трещат завязки, брови насуплены, и чуть не кости трещат под стальными перстами... Как волка ни корми, он все в лес смотрит. Значит — бдительность. Каждый из этих, безмолвно-покорных, в расстегнутых бушлатах, с беспомощно воздетыми руками, — каждый! — возможный беглец.

Навязшие в зубах слова предупреждения опять полны смысла и обещают смерть. Колонна! Внимание... За неподчинение законным требованиям конвоя, п о п ы т к у к п о б е г у — конвой применяет оружие.

Без предупреждения. Ясно??

...в-вашу мать.

Следуй — и не растягивайся.

И вот начинается... "Стой!.. Ложись!..". Начальнику конвоя приснилось нарушение правил. Через сто шагов снова: "Ложись!" Впереди, в розовом дыме зари, видно, как ложится на дорогу и вскакивает головная колонна: там то же самое. Но нет худа без добра, и все бригады начинают работу с опозданием на два часа.

Тем временем в зоне ш м о н — тотальный обыск. Жаль, невозможно разобрать барак по бревнышкам. Из распоротых постельников летят на пол жалкие их потроха. Добыча — колода захватанных карт, нож из черенка старой ложки и пахнущая мышами Библия, найденная в старом вален-

ке у сушильщика-баптиста. Не позабыли и кондей: надзор лазает по камерам, шурует в параше — вдруг там подводная лодка.

Побег! Звонят телефоны... Что такое Гривнин, вчера еще никому не известный, что такое этот Гривнин по сравнению с тысячами, с десятками тысяч, намертво сидящими в лагере, и другими десятками, которые еще сядут? Микроб, пылинка. Что значит одна обритая голова посреди этой громадной массы голов, людского фарша, длинными лентами вытекающего каждое утро из ворот на всех подразделениях? Чихать на нее! Если бы он умер, никто бы и не заметил.

Но нет. Придет в движение весь аппарат, все многоголовое сообщество начальств, секретарей, подчиненных и подчиненных подчиненных, выступит в бессонный поход дружина стрелков, командиров, проводников служебно-розыскных собак — и возвратится домой лишь после того, как убедится, что беглец вышел из пределов их досягаемости, а тогда заработает гигантская машина всесоюзного розыска — и будет лязгать до тех пор, пока не выполнит своего назначения. Пока злодей не будет пойман, опознан, возвращен, побит, судим и наказан.

И как не злодей! Перемолоть бы его на крупорушке. Стольких людей поднял на ноги, стольким кровь испортил.

Ревет, бушует непогода... Далеко, далеко бродяги путь. Все ненадежно, все коварно на его пути. За каждым кустиком скрыта ловушка, любой прохожий, заметив, побежит доносить; за ним несутся собаки, его поджидают на станциях, блок-постах, на перекрестках дорог, стерегут на разъездах, где товарняк ждет перед закрытым семафором. Вся страна ему враг.

И вся страна друг. Темной ночью непролазная чаща сбросит его от глаз крадущегося стрелка, а снег засыплет ямки следов. В глухой деревне сморщенная старуха пустит в избу переночевать, накормит кашей и даст краюху хлеба на дорогу. Звери его не тронут, а люди отвернутся и скажут, что не видали.

Укрой, тайга его глухая...

Глава...

"Тогда говорит: вернусь в дом мой..."

Зимней ночью в глубине леса мерцал огонь; у костра сидел человек и готовил себе ужин в старом солдатском котелке. Котелок был без дужки, черный и погнутый во многих местах, а ужин состоял из растопленного снега.

Когда вода закипела, он подвинул к себе кастрюлю и стал хлебать, зачерпывая куском бересты, нагнувшись над котелком, чтобы не капало мимо.

В это время явился из темноты и подошел к нему некий странник.

Шатаясь, он приблизился к костру, бросил наземь два автомата и протянул свои отмороженные руки.

Хозяин костра, казалось, не обратил на него внимания. Он добавил снега в котелок, поставил его в пляшущее пламя. Потом, взглянув на пришельца, покачал головой.

"Эк, непутевый, — проговорил он. — Чай, с лагпункта?"

Треск отсырелых сучьев был ему ответом. Мертвые руки Гривнина висели над огнем.

"На-ко вот, попей кипяточку... Небось в бегах?"

Гость, пришедший из темноты, сидел на мокрой коряге, освещенный багровым светом, и, придерживая рукавами кастрюлю, от которой валил пар, дул на нее своими белыми, неживыми губами. Хозяин костра поглядел на стальные игрушки, валявшиеся на снегу.

"Охрану-то... того?"

Странник покачал головой.

"Что ж, — хозяин вздохнул, — к лутчему... Расстрелять не расстреляют, а срок — он и без того срок!"

И он занялся костром, посапывая волосатыми ноздрями. К небу поднялся столб искр.

Сквозь треск горящих веток послышался голос Гривнина — он говорил, едва шевеля губами, очевидно, превозмогая дремоту и все усиливающуюся боль в кончиках пальцев.

"Знаю, — бормотал Гривнин, — не обманешь. Все вранье. Сон гадский... Никого нет, вранье... Привидение... Маленько погреюсь и пойду дальше".

Он тянул руки к огню, бормоча, как во сне, с полузакрытыми глазами.

"Тепло... Ташкент. Вот погреюсь чуток — и...".

"Куды ж ты пойдешь?" — спросил хозяин.

"А вот пойду, — лепетал Гривнин. — Куды пойду, туды и пойду. В деревню. К бабам. Нет, — он покачал головой. — Стороной надо. К железной дороге".

"Дак ведь оцапление там. Кто ж тебе пустит?"

"Ночью уеду, на тормозной площадке. До Котласа доберусь".

"И опять в лагерь. Дурень ты, прости господи...".

На это Гривнин ничего не ответил. Голова его опустилась на грудь, котелок стыл на коленях. Вдруг острая боль в кончиках пальцев пронзила его. Автоматы! Нет, они лежали там же, на снегу. Котелок валялся у его ног. Костер угасал, и косматая фигура смутно темнела по ту сторону алых огней.

"Чего забалукатился?"

Спокойный голос говорил точно у него в мозгу.

"... Отдыхай, не торопись. Куды уж теперь торопиться".

"Нет, — подумал Степан, — уйду все равно. На карачках уползу".

"Эк заладил, — сказал с досадой хозяин, точно слышал его мысли. — Уйду да уйду. — Хозяин сплюнул в огонь. — Да куды ты денешься? Дальше лагеря не уйдешь".

"Нет, уйду!" — повторил Гривнин насупясь. Он сидел, неподвижно выставив сведенные судорогой руки. Но прежде надо было переспорить того, сидящего насупротив за костром.

"Уйду совсем, — сказал он, — из России. Пропади она пропадом".

Ответа не последовало. Хозяин ворошил угли, мычал старую острожную песню — каторжный гимн. Но оборвался, закашлялся и выплюнул комок в красные угли.

"Нехорошо это, — сказал он наконец. — Пустое брешешь, и ни к чему. Никуды ты не скроешься — и здесь неволя, и там неволя. Здесь лагерь и там лагерь. И где нет лагеря, все равно лагерь. Только себя истомил напрасно".

Он забормотал что-то, чего Гривнин не мог разобрать, "...нашего-то русского хлебушка сытней нигде не найдешь".

"Да уж, — Гривнин скрипнул зубами. — Наелись мы этого хлеба. Сыты! По самую маковку! Нет, врешь, падло, — заговорил он со злобой, — кабы на самом деле был, небось не сидел бы тут! Суки, гады ползучие... — он забормотал, дрожа и озираясь, — как для других, дак... Чернуху кидать — мастера!"

И он дернулся встать, как тогда в избе, но тело не слушалось, и он остался сидеть на обледенелой коряге. Лес раскачивался над ним, осыпая снег. Костер потух...

С ужасом он почувствовал, что в мозгу у него нет больше воли. Старик, почти невидимый, вразумлял его ровно, настойчиво, словно читал над усопшим.

"Не юродствуй. Сколь с человека не взыщется, того богаче останется. Сто шкур сдерут — последняя крепче будет. Ты, парень, лутче не рыпайся, это я тебе точно говорю. Куды бежать? Куды спастись? Всюду лагерь, с одного бежишь, в другой угораздишь. А ты в себе самом спасайся, тут до тебе ни один начальник не достанет, ни одна сволочь не дотянется".

Хозяин продолжал:

"Ружье брось. С ружьем толку не добьешься. Ты вот один сбежал, а там за тебя двух сразу посодют. Да сотню накажут, да на тысяче отыграются... А ты ничего не делай, так-то спокойней, никого не трогай, и тебя не тронут. Сиди себе и жди. Они сами придут. Они.брат, везде. Побежишь — собаками разорвут, а то, гляди, пулю схлопочешь. Сидеть будешь, не тронут".

Гривнин собрал силы — поднялся. Надо было кончать этого старика, другого выхода не было.

Старик твердил свое:

"...Сказано: вышел злой дух, да вернулся. Да не один, а целых семеро. И куды вас все носит. Тюрьма вам надоела? Дак ить за ней другая, еще хуже. Вся жизнь наша, парень, тюрьма. Кем родился, тем и помрешь".

В темноте раздался его кашель. Слышалось старческое кряхтение. Старик на глазах у Гривнина как будто становился все старше.

"Погавкаешь у меня, падло", — думал Степан. Он стоял, пошатываясь, и целился в старика.

Старик мычал песню.

Гром автоматной очереди, точно стрекот гигантского мотоцикла, разорвал тишину и слитным эхом отозвался в чащах. Гривнин стоял и нажимал окоченевшими пальцами на спусковой крючок, мотоцикл гремел и гремел, эхо сотрясало тайгу. Затем — смолкло. С веток сыпался лиловый снег. Старик исчез.

Старика не было, он пропал или не существовал вовсе, но на том месте, где он сидел, остался след, и котелок чернел на снегу. Бессмысленная погремушка, внезапно умолкнув, осталась в руках у Степана, он нажал внизу, пустой магазин выпал на снег. Он посмотрел на него. Гнев его стих, он испытывал странное успокоение. Где-то в глубинах слуха, во тьме мозга рождался и нарастал высокий, как струна, вой овчарок.

ПОЭЗИЯ

"ЗДЕСЬ Я ЦАРСТВУЮ, ЗДЕСЬ Я ОДИН"

ПОЭЗИЯ ЛЕОНИДА АРОНЗОНА

Леонид Аронзон родился в Ленинграде в 1939 году. Стихи писал с детства и очень много, а печатался очень мало — только несколько стихотворений для детей.

Аронзон знал всю жизнь, что его стихи не будут напечатаны. Такое положение тяжело для поэта более всего не тем, что обделяет известностью, а тем, что лишает участников литературного процесса естественной творческой жизни: читатели заменены поклонниками, критика — советами друзей. Надо обладать большой внутренней сосредоточенностью, чтобы в этих условиях пройти своим путем, изменяясь под действием исключительно внутренних обстоятельств. Поэзия Аронзона заставляет вспомнить о многих литературных веяниях и влияниях за два прследних века русской поэзии. Казалось, ему предстоит построить свою поэтическую систему на обрывках и развалинах низвергнутых эпигонами поэтических миров.

Аронзон не докончил своей работы. Осенью 1975 года он погиб, застрелившись из охотничьего ружья. Сразу после его смерти выяснилось, что мы, друзья и читатели, были недостаточно внимательны к жизни, сосредоточенной в его стихах, что отношение к поэтическому слову, как к тропу, помешало нам увидеть опасную близость к смерти, в которой постоянно жил поэт. Это, впрочем, выясняется каждый раз при каждой смерти поэта. Стихи его, по-прежнему расходящиеся в списках, давно уже читаются не только в Ленинграде. В печати появляются впервые.

Леонид АРОНЗОН

ФЕВРАЛЬ

В себе — по пояс, как в снегу — по пояс.
Скрипят шаги, незапертые двери,
скрипят суками мерзлые деревья,
как только что начавшаяся повесть.
Февраль, февраль,
ложатся на шоссе
от облаков медлительные тени,
и кружится, как лист на колесе,
всех лиц твоих мгновенное виденье.
Лжеликая, как страшно мне с тобой
наедине, в любви, в единоборстве,
в покорности твоей, в твоём упорстве,
когда февраль, как пламя, голубой.
Когда февраль... Как сладко ты лгала,
теперь один, теперь тебя зову я,
вдоль всех деревьев тень твоя легла,
твоим движеньям робко повинуюсь.
Качается, качается фонарь
прерывисто, как будто затихая,
кончается стремительный февраль
над тихими и горькими стихами,
над горькими, как ветки тополей,
февральские печальные длинноты,
вплетенные в ночные повороты,
как в капле затуманенных полей.
Теперь один, как дерево в снегу,
зову тебя, вытягивая ветви,
и пуст мой день, и что ни ночь в ответ мне
лишь побережья бесконечный гул.

ПАВЛОВСК

Уже сумерки, как дожди.
 Мокрый Павловск, осенний Павловск
 облетает, слетает, дрожит,
 как свеча, оплывает,
 о август,
 схоронишь ли меня, как трава
 сохраняет опавшие листья,
 или мягкая лисья тропа
 приведет меня снова в столицу?

В этой осени желчь фонарей,
 и плывут, окунаясь, плафоны,
 так явись, моя смерть, в октябре
 на размытых, как лица, платформах,
 а не здесь, где деревья — цари,
 где царит умирание прели,
 где последняя птица парит,
 и сползает, как лист, по ступеням,
 и ложится полуночный свет
 там, где дуб, как неузнанный сверстник,
 каждой веткою бьется вослед,
 оставаясь, как прежде, в бессмертье.

Здесь я царствую, здесь я один,
 посему, разыгравшийся в лицах,
 распускаю себя, как дожди,
 и к земле прижимаюсь, как листья,
 и дворцовая ночь среди гнезд
 расточает медлительный август
 бесконечным падением звезд
 на открытый и сумрачный Павловск.

.....

Есть в осени присутствие зеркал,
 объем их мнимый в воздухе осеннем,
 когда и небо тускло и река,
 и первый лед, скребясь о берега,
 проносит птиц недвижимые тени;
 когда к реке спускаясь по ступеням,
 я вижу, отделенные стеклом,
 то острова, то длинный царский дом,
 то Охту, где буксиры да репейник.
 Еще везде, смотрю, полусветло,
 еще артель ворочает весло,
 и возле ног еще ярится в пене
 измятый лист, пропахший наводненьем.

БАБОЧКИ

Над приусадебного веткой,
 к жаре полуденной воскреснув,
 девичьей ленты разноцветной
 порхали тысячи обрезков,
 и куст сирени на песке
 был трепыханьем их озвучен,
 когда из всех, виясь, два лучших
 у вас забились на виске.

Холодный парк, и осень целый день,
и сохнут сети, и не видно где,
и осень — в парк широкое окно,
облокотясь, люблюсь чьим-то сном:
то вижу шлейф за бычьей головой,
то мысль о славе, а за ней — конвой,
то, в парк спустившись, вижу на воде
свои стихи — уснувших лебедей...

.....

Хандра ли, радость — все одно:
кругом красивая погода!
пейзаж ли, комната, окно,
младенчество ли, зрелость года,
мой дом не пуст, когда ты в нем
была хоть час, хоть мимоходом.
Благословляю всю природу
за то, что ты вошла в мой дом!

.....

Благодарю тебя за снег,
за солнце на Твоем снегу,
за то, что весь мне данный век
благодарить Тебя могу.

Передо мной не куст, а храм,
храм Твоего КУСТА В СНЕГУ,
и в нем, припав к Твоим ногам,
я быть счастливей не могу.

.....

Как хорошо в покинутых местах!
Покинутых людьми, но не богами.
И дождь идет, и мокнет красота
старинной рощи, поднятой холмами.

И дождь идет, и мокнет красота
старинной рощи, поднятой холмами.
Мы тут одни, нам люди не чета.
О, что за благо выпивать в тумане!

Мы тут одни, нам люди не чета.
О, что за благо выпивать в тумане!
Запомни путь слетевшего листа
и мысль о том, что мы идем за нами.

Запомни путь слетевшего листа
и мысль о том, что мы идем за нами.
Кто наградил нас, друг, такими снами?
Или себя мы наградили сами?

Кто наградил нас, друг, такими снами?
Или себя мы наградили сами?
Чтоб застрелиться тут, не надо ни черта:
ни тяготы в душе, ни пороха в нагане.

Ни самого нагана. Видит Бог,
чтоб застрелиться тут, не надо ничего.



Савелий ГРИНБЕРГ

РЕЛЬСЫ ВРАЗБРОД

ПИСЬМО МОЕМУ ДРУГУ АРНОЛЬДУ

Что ж Арнольд ты пропадаешь
К дружбе где твой прежний пыл
Али адреса не знаешь
Али впрямь друзей забыл

Аль года что шли с Арнольдом
так — лишь скопище химер
Мол — солдат от слова сольдо
мол от офис —офицер

Было так — забор ломали
чтобы печку протопить
Где — скажи — в каком журнале
дней тогдашних прототип.

Что ж такое Как же этак
Так что этак Так что вот
Железнодорожных веток
рельсы что ль пошли вразброд

Аль луну снимавший рейнджер
сшиб с пути к домам впритык
Аль в набухший этот вечер
хвоей к небу лес приник

Говорят что вот забвенье
это метод это путь
чтоб годам найти замену
чтоб века перемахнуть

чтоб отбросить все мечтанья
все гаданья ни к чему
Корабли — воспоминанья
сечь спалить в огне в дыму

Что ж Арнольд ты пропадаешь
Отговоркам нет числа
Мол потише мол подалее
Все сгребет времен метла

Только солнце блещет дивно
Мир в цветах — мазок к мазку
Ты на турбореактивном
вновь взлети сюда в Москву

И тогда в приезд Арнольдов
в час восхода звездных псов
мы в размерах посвободней
все решим обсудим все



Валентина СИНКЕВИЧ

ИЗ ЛИРИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ

ЖЕНЩИНА

В каком-то большом этаже
Стучит на машинке женщина.
Лет двадцать пять уже
Машинка стучит у женщины.

Каждый день машинка стучит...
А стены менялись у комнаты,
Менялся их голос и вид,
Лишь так же согнута

Женщина — без которой нельзя
Стучать по буквам и точкам.
Вот эта женщина вся
В черных бегущих строчках.

Каждый руки ее слышал,
Но никто лицо не заметил.
Провожать ходил на вокзал
Иногда попутный ветер.

И когда она не пришла
С далекого своего вокзала —
Не сказал никто ни добра, ни зла...
И машинка о ней молчала.

КАМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Город — каменным бременем.
Он — точно каменный век.
По каменным ходит ступеням
Каменный человек.

Мимо идет тротуаром,
Сходит куда-то вниз,
И всходит, будто в кошмаре,
На самый высокий карниз.

Ходит по страшным высотам,
Снова спускается вглубь...
И вдруг из толпы у кого-то
Ужас срывается с губ.

И вот камнями израненный,
Не подымающий век —
Лежит простой, а не каменный.
Разбившийся человек.

ДЕТИ

На земле они переживут меня,
 Переузнают и перевыдержат.
 Их глаза переглядят мои,
 Уши их — мои переслушают.

Ритмы в беге их ног и сил
 Перегонят мои и вынесут
 В то, что я не смогла узнать,
 В то, что я не смогла выразить.

Жизнь булыжную мою
 С тягой к мягкому, легкому,
 Отнесут они далеко назад —
 Всю себе дорогу выговорив.

Я гляжу на них не ища себя —
 Пусть бегут неповторенные
 Далеко вперед, обогнав меня,
 Чтобы дать дорогу следующим.

ОГДЕН НЭШ
 (1902 - 1971)

КАТИСЬ, БУРЛИВЫЙ, ТЕМНЫЙ АВТОР — КАТИСЬ!

Катись, бурливый, темный вал!

Б а й р о н

Грегори Пек и Джоан Беннет показали
 настоящую хемингуэевскую любовь в
 фильме "Приключение мистера Макomberа"

Р Е К Л А М А

Визгливый вопль сирены
 Над морем книг звучал:
 "Эй, руку прочь с колена!
 Лорд Байрон, ты нахал!"

Все Дон Жуана песни —
 Ничто душе моей!
 Не слушаю, хоть тресни.
 Хоть пой, как Дорис Дей!

Прошло твое, брат, время,
Иди и дур лови —
А я вот жажду хемин-
гуэвской любви!

А Байрон мне, бывало,
Внушал любовный жар.
Какой же я отсталой
Тогда была, кошмар!

Теперь он мной изжеван:
Кусаю губы в кровь.
О Грегори и Джоан!
Вам — зависть! Вам — любовь!

У сердца — кинемато-
графический кордон.
Не будем, как когда-то.
Бродить мы, Джордж Гордон!

В душе — бедлам и темень!
Лорд Байрон, не зови:
Теперь я жажду хемин-
гуэвской любви!"

Перевел Г. Бен

ПУБЛИЦИСТИКА

Лев ТУМЕРМАН

ИЗРАИЛЬ: ЕВРОПА ИЛИ АЗИЯ?



"С чего начинается Родина?" Там, в такой невозвратно далекой, такой любимой и такой ненавистой стране мы воспринимали эту хорошую песню со злобной иронией. Она звучала для нас издевательски, почти как знаменитое: "Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек" или "Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство".

А ведь там у нас были все аксессуары того, с чего обычно начинается Родина. С первых дней жизни была русская речь, ставшая для нас материнской, был "великий, могучий, правдивый и свободный" русский язык, через который мы восприняли все многоцветие западной культуры. Были товарищи и друзья — по школе, университету, работе. Было счастье любви и горечь родных могил. Были успехи и разочарования. Было незабываемое обаяние русской природы — прелесть ее лесов, лугов, полей и рек, очарование заснеженного леса, грустный простор южных степей и безбрежный разлив Волги, томление долгих весенних подмосковных сумерек и дивное "Петра творенье" — город Пушкина с его белыми ночами.

**"Есть в русской природе усталая нежность,
Безмолвная боль затаенной печали,
Безвыходность горя, безбрежность,
Холодная высь, уходящие дали".**

Как чувствовали мы это и как любили!

Была и общность исторических судеб. Была тяжесть трагических и голодных лет Революции и двух Мировых войн, которые мы пережили в этой стране и с этой страной. Даже "Архипелаг Гулаг" был общим для них и для нас.

Да, все было. Только не было Родины. Только тщетно мы долгие годы тешили себя мечтой, что после Революции мы можем стать для этой страны родными детьми, что в ней мы можем обрести свою Родину. Настало время, Россия Советская обратила к нам свой звериный, свой коммунистический лик, и мы поняли всю иллюзорность нашей мечты. Мы поняли, что чужими мы были всегда в этой стране и для этой страны и чужими останемся навеки. И тогда зазвучало в душе древнее и давно забытое: "Рабами мы были в Египте". Ясна стала необходимость Исхода. Вечный Жид должен снова взять свой посох и идти влачить свое унылое странствие по городам и весям чужих стран.

И вот мы пришли в эту маленькую и трудную страну, страну народа, свою неразрывную слиянность с которым мы поняли так поздно. Пришли с надеждой обрести здесь Родину не только для своих потомков, но и для самих себя — усталых, измученных, постаревших.

Все здесь было непривычно и чуждо. Другие звезды, другой воздух. Иная природа — красивая, но незнакомая, ничего нашему сердцу не говорящая. Новые, странные и непонятные нам условия жизни — общественной, политической, экономической. Чуждая ментальность большинства населения, с которым нам жить и умирать. И самый трудный барьер — языковой.

Можно, конечно, кое-как преодолеть трудности совершенно новой для нас грамматической структуры иврита, можно освоить небольшой словарный фонд и овладеть ивритом настолько, чтобы быть в состоянии с грехом пополам изъясняться на улице, в магазине, на работе. Те, кто

помоложе, могут даже надеяться, что через какое-то время они будут в состоянии прочитать на иврите газету или деловую прозу. Но не будем обманывать себя: никогда этот язык не станет родным, материнским для тех, кто прибыл сюда уже взрослым, сложившимся человеком. До конца наших дней наша интеллектуальная и духовная жизнь будет осуществляться на языке страны нашего исхода. И только для детей наших иврит станет языком родным.

И все же только здесь, в этой стране, мы начинаем обретать Родину. Только здесь — и нигде больше — мы начинаем чувствовать себя д о м а. И потому только здесь впервые зазвучал для нас во всей своей серьезности и значительности вопрос: с чего же начинается Родина?

Вероятно, у каждого есть свой ответ на этот вопрос. Вероятно, для каждого Родина начинается с другого и по-другому. Для меня она началась с долгих и напряженных размышлений об исторических судьбах еврейского народа и современных проблемах государства Израиль, с того, что я ощутил свою личную причастность к этим проблемам и свою личную ответственность за судьбу этого государства, с того, что я понял: хороша эта страна или плоха, но она моя, моя на радость и горе.

КОЧУЮЩИЕ КОНТИНЕНТЫ

В географии физической, которую все мы в свое время изучали в школе, место Израиля на карте обозначено ясно и неизменно: Израиль — одно из государств Леванта, расположенное на крайнем западе Азии, на стыке этого материка с Африкой и — через Средиземное море — с Европой. Но существует и другая география — география культур и цивилизаций, — которая почти не считается с геологически сложившимся распределением океанов и континентов, морей и рек, гор и равнин.

В этой географии Соединенные Штаты и Канада, Австралия и Новая Зеландия, страны Южной Америки и "белая" южная Африка лежат в Европе, относятся к континен-

ту Западной культуры, а на физически едином азиатском материке разместились несколько отдельных континентов культуры — китайский, индийский, мусульманский.

Каково же место Израиля в этой географии культур? На каком континенте находится и будет находиться государство Израиль?

На протяжении почти четырех тысяч лет, вплоть до конца 18 века, духовная культура еврейского народа была резко отграничена от культуры народов, среди которых евреям приходилось жить. Еврейская культура была, если не самостоятельным континентом, то, уж во всяком случае, островом, "анклавом" на всех континентах, куда судьба забрасывала наш народ.

Так было. Но значит ли это, что так будет?

В географии физической на протяжении истории очертания континентов практически не менялись. В географии культур и цивилизаций иногда гибель целых материков и возникновение новых происходит за несколько столетий, а иногда и десятилетий.

Если даже не говорить о таких событиях всемирно-исторического масштаба, как гибель греко-римской цивилизации и создание новой, христианской на обломках Римской империи, павшей под ударами вышедших из глубин Азии варварских племен, то нетрудно все же показать, как быстро и как относительно легко могут переселяться отдельные народы с одного континента культуры на другой.

Допетровскую Русь вряд ли можно относить к азиатскому континенту культур, хотя бы потому, что она была государством христианским. Но и к европейскому континенту отнести ее безоговорочно нельзя было. Христианство свое Русь получила не из Рима, а из Византии, осваивала его в этой "левантийской" форме и, отгороженная на протяжении веков от Запада, лежала в стороне от основного русла развития западноевропейской культуры.

Однако реформы Петра Великого и последующие два столетия развития Российской Империи все больше сближали эти культуры, и к началу нашего века Россия уже прочно заняла свое место на европейском континенте, хо-

тя, конечно, многие пережитки ее былой самобытности сохранились и нашли свое отражение в незаконченном по сей день споре между "западниками" и "славянофилами".

Вспомним о пути, пройденном Японией за царствование императора Мэйдзи (вторая половина 19-го века). Еще в середине этого века Япония была страной, наглухо закрытой для иностранцев и абсолютно чуждой культуре европейского континента. Ее материальная цивилизация находилась на уровне бронзового века, социальная структура была феодальной, а оружием были — меч и лук. А в 1905 году Япония обладала армией с наиболее совершенным по тому времени вооружением и военно-морским флотом, построенным на собственных верфях. Эти армия и флот одержали решительные победы в войне с Россией. Прошло еще полстолетия, и, несмотря на проигранную Вторую мировую войну, Япония ныне — одна из наиболее развитых индустриальных стран.

Говорю я обо всем этом только для того, чтобы показать, как лабильна и переменчива культурная жизнь народов и никакие исторические реминисценции, никакие ссылки на тысячелетние традиции и самобытность старой еврейской культуры еще не определяют ответа на вопрос о том, на каком континенте будет жить и развиваться культура государства Израиль.

Если отказаться от метафор и литературных приемов, то вопрос поставлен историей так: будет ли культура Израиля в обозримом будущем — скажем, в конце 20 века и в веке 21-м — культурой светской, арелигиозной, базирующейся на европейской системе ценностей, в основе которой лежит рациональное мышление и наука, или она сохранит свой традиционный, совершенно особый характер, уходящий корнями в религиозную культуру средневекового иудаизма и через него в культуру библейскую?

Речь здесь идет именно о духовной культуре, ибо вряд ли кто-нибудь сомневается в том, что материальная цивилизация Израиля, его общественная структура и экономика будут развиваться по образу и подобию индустриальной цивилизации Запада. Те или иные из этих тенденций — на-

пример, представляющаяся мне несомненной тенденция к образованию светского государства Израиль, полностью освобожденного от всяких связей с религиозными институтами, — могут одних людей радовать, других — огорчать. Но какое это имеет значение? Что значат на весах истории наши стремления или разочарования?

Важно лишь одно: правильно или неправильно поняты эти тенденции, правы ли мы в своем понимании того, куда устремлена стрела времени?

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Уже в библейскую эпоху идея единобожия, всегда составлявшая суть еврейской религии, положила непереходимую грань между еврейской культурой и культурой окружающих народов. Впрочем, уровень материальной цивилизации и социальная структура вторгшихся в Ханаан западносемитских племен, по-видимому, не очень сильно отличались от цивилизации племен, осевших на этой территории ранее.

Во всей последующей истории еврейского народа эта религия с ее концепцией "избранного" народа, находящегося в исключительных отношениях с Богом, играла доминирующую роль. Она и явилась, вероятно, важнейшим фактором, обеспечившим сохранение еврейства как народа на протяжении почти четырех тысяч лет.

По окончании периода завоевания связь между племенами, расселившимися по территории Ханаана, значительно ослабла, а переход от скотоводства к земледелию изменил и прежний патриархальный характер руководства племенем, усилив роль семьи, клана, общины. Племенная общность уступала место общности, основанной на признаках территориальных или производственных.

Противодействовать этим центробежным силам и обеспечить возможность создания сильного и жизнеспособного

государства могла только общая для всего народа религия, резко отличающая культуру и быт евреев от культуры окружающих народов. Естественно, что в этих условиях Иерусалимский храм неизбежно должен был стать идейным и политическим центром государства и народа, религия — основой всей его культуры, а первосвященники — его естественными духовными и политическими вождями.

И в ту эпоху, и значительно позже религия играла такую же консолидирующую роль и у других народов, но трагические особенности еврейской истории наложили особый отпечаток на развитие его культуры. Государство приобрело теократический характер, религиозные институты в нем стали особенно сильны, а в религии и культуре особое значение приобрело стремление отгородиться от окружающих народов, укрепить концепцию "избранности" Израиля.

Первым переломным моментом в истории еврейского народа и его культуры явилось взятие и разрушение Иерусалима вавилонской армией в 587 году до н.э. и последующее вавилонское пленение.

Как пишет Аллегро, ..."Когда Вавилонский властитель переселил цвет еврейской нации на чужую почву, в Месопотамию, он создал иудаизм и еврейскую проблему. Он закалил сталь национального характера в огне унижений и отточил ее острие страданиями".*

Шло время, окружающий мир менялся. В Палестину во все большем количестве начинают проникать греческие купцы, наемники, искатели приключений.

Завоевание страны Александром Македонским (332 г. до н.э.) чрезвычайно усилило тенденцию к эллинизации Ближнего Востока, в том числе и Иудеи.

Греческий язык становится для всего Ближнего Востока *lingua franca*, языком, дающим доступ на рынки и в центры культуры всего этого района. Тот факт, что между третьим и первым веком до н.э. был осуществлен первый пе-

*John M. Allegro : «The chosen people». Hodder and Stoughton. Ltd, L. 1971, p.13.

ревод Библии на греческий язык, показывает, как широко был распространен этот язык среди евреев, живших за пределами Иудеи и в самой Иудее.

На протяжении четырех столетий, протекших между Александром Македонским и Титом Веспасианом, еврейский народ был вынужден вести почти непрерывные войны сначала с египетскими и сирийскими наследниками империи Александра, а затем с военной мощью Рима. Наряду с военными, политическими и экономическими конфликтами шла не менее напряженная борьба за души людей, происходило столкновение старой иудейской культуры с культурой эллинистической. В субъективном сознании людей той эпохи этот духовный конфликт неизбежно принимал форму столкновения монотеистической еврейской религии с "языческим" Эллинизмом. При этом борьба за сохранение чистоты монотеистической еврейской религии становилась чрезвычайно важным фронтом национальной борьбы за сохранение им своей самостоятельности и самобытности.

Опасность эллинизации была весьма реальной и грозной. Она была не в том даже, что утонченная эллинистическая культура довольно глубоко проникла в цивилизацию и быт еврейского общества, преимущественно его высших, наиболее обеспеченных слоев. И прежде еврейству приходилось сталкиваться с культурами более высокими, чем его собственная. (Бен-Гурион несомненно прав, когда он пишет, что и древний Египет, и Вавилон "превосходили Израиль не только по населению, богатству, военной мощи и территории, но и по некоторым интеллектуальным и научным достижениям".) Опасность была в том, что само еврейское общество, противостоявшее этим культурным влияниям, было уже совершенно иным. Это было общество глубоко дифференцированное, раздираемое серьезнейшими социальными религиозными, культурными конфликтами. Оно уже создало свою интеллигенцию, и для нее, для людей, подобных Иосифу Флавию или Филону Александрийскому, в культуре античной, культуре Эллады и позже Рима, были соблазны непреодолимые.

Эти противоречивые тенденции — заманчивость античной европейской культуры и ощущение ее почти "биологической" несовместимости со старой иудаистской культурой; стремление к сохранению национальной самобытности и понимание безнадежности борьбы против могущества Рима — создавали в душах людей глубокие коллизии, вся трагичность которых с таким мастерством показана Фейхтвангером в его трилогии, посвященной Иосифу Флавию.

Между тем золотой век эллинской культуры, искусства, драмы, политики и философии был позади. Единственным, но неоценимым даром, который оставила нам эта эпоха, был необычайный расцвет науки, особенно математики, астрономии, физики, географии.

Эпоха эта была освещена непреходящим блеском имен Эвклида, Аполлония и Архимеда, Гиппарха, Птолемея, Аристарха Самосского и множества других ученых. Но — странное дело — именно эта, наиболее сильная сторона эллинистической культуры совершенно не затронула культуру иудаизма, и евреи, генетическую одаренность которых в науке отрицать невозможно, не внесли практически никакого вклада в развитие науки античной.

После разрушения храма и превращения Иудеи в провинцию Римской империи вся тяжесть ответственности за сохранение еврейского народа легла на плечи его духовных руководителей — "мудрецов", ибо снова только религия могла связать воедино рассеянные по всей Диаспоре еврейские общины и предотвратить растворение еврейства в среде окружающих народов.

Еще до падения Иерусалима рабби Иоханан бен-Заккай уходит из осажденного города и создает в Явне новый Синедрион. Его дело продолжает рабби Гамлиэль и большая плеяда раввинов, которые проделывают огромную работу по оформлению Устного Закона и кодификации еврейского права. К 210 году заканчивается составление Мишны, а к 390-му оформляется Иерусалимский Талмуд. Трудно переоценить значение этой работы для сохранения еврейского народа.

К тому времени, когда христианство стало господствующей религией во всей средневековой Европе, и за 200 — 300 лет до того, как ислам занял такое же господствующее положение в странах Малой Азии и северной Африки, был создан тот твердый и незыблемый оплот, который позволил евреям противостоять на протяжении пятнадцати веков всем попыткам заставить их переменить свою религию, что в тех условиях означало: исчезнуть как народ. Это упорство в сохранении своей веры было одним из основных факторов, в силу которых евреи всегда оставались чужими и ненавистными в среде всех народов, среди которых они жили. Евреев изгоняли из общества и замыкали в стенах гетто.

Эта замкнутость в железных рамках закона, конечно, тормозила развитие свободной мысли, сковывала всякий прогресс. Но такова же была картина и в окружающем мире. Ночь Средневековья опустилась в равной мере на мир христианский, мусульманский и еврейский. Под мраком этой ночи, как зерна, брошенные в землю под зиму, сохранялись живые зерна античной европейской культуры, которым суждено было прорасти в Новое Время.

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ" В ЕВРОПУ

До конца 18 века евреи и в своих собственных глазах, и в глазах народов, среди которых они жили, оставались в большей мере религиозной общиной, чем нацией в современном понимании. Понятия "еврей" и "лицо иудейского вероисповедания" воспринимались как нечто тождественное.

Разрыв между этими двумя понятиями произошел лишь после французской революции, разрушившей стены гетто — в прямом и переносном смысле. Евреи вышли из стен изолированной и замкнутой общины и включились на равных правах в жизнь открытого общества. Религия в нем

уже рассматривалась как дело совести каждого отдельного человека, а не как признак принадлежности к определенной нации.

Это привело к замене системы религиозных духовных ценностей (на которой базировалась старая иудаистская культура) новой системой ценностей, в которой доминирующую роль играют проблемы науки в широком смысле слова и проблемы социального устройства. Выражаясь образно, с века Просветительства начинается "переселение евреев из Азии в Европу".

Со всем жаром неопитов евреи устремились в два основных канала, по которым развивалась тогда культура общества: в социалистическое движение и в точные и естественные науки. О роли евреев в развитии социалистической мысли и социалистического движения широко известно, нужно лишь подчеркнуть, что это движение было не только арелигиозным, но и прямо враждебным всякой, в том числе и еврейской, религии.

В науке вклад евреев до тех пор, пока они жили в замкнутой религиозной общине, был ничтожно мал. Мы отмечали уже, что они ничего не внесли в науку античную. Но и в развитии науки Нового Времени, в период, охватывающий, условно, время от Коперника и Кеплера через Галилея и Ньютона и до Фарадея — Максвелла, евреи почти не участвовали.

Но только рухнули стены гетто и культура религиозная была заменена культурой европейского Просвещения, открылся простор природной генетической одаренности евреев. Именами Генриха Герца и Альберта Эйнштейна открывается список выдающихся ученых — физиков и математиков, химиков и биологов, — которые оставили неизгладимый след в истории познания человеком мира и самого себя.

Итак, эмансипация еврейства сделала его нацией как все остальные. Но нация эта находилась в совершенно особых условиях, каких не знала ни одна другая: она не имела ни собственной территории, заселенной в основном членами этой нации, ни собственной государственности.

С другой стороны, включение евреев в жизнь открытого общества и их приобщение к европейской культуре неуклонно размывали тот фундамент старой религиозной культуры, который позволил народу сохранить себя и выжить, несмотря на все преследования и гонения, которым он подвергался на протяжении почти двух тысячелетий.

В этих условиях с особой остротой стал вопрос: что же способно заменить религию как силу, цементирующую народ? Мы знаем, что такой цементирующей силой стала идея возрождения еврейского государства, идея сионизма. История поставила вопрос так: либо исчезновение еврейства как народа, либо создание им своего государства.

Многие в то время избрали первую альтернативу. Для одних высшей ценностью стал социализм, для других — идеи космополитической, точнее говоря Европейской, культуры: наука, гуманизм, искусство. История показала, как ошибались и те, и другие: ни блестящее развитие европейской цивилизации в Германии, ни победа коммунизма в России не только не сняли национальных проблем, но и не спасли еврейство от самого варварского антисемитизма.

Сионизм объединил вокруг себя всех, кто не мог примириться с мыслью об исчезновении еврейства, сосредоточив его усилия на единой исторической задаче, и государство Израиль в этих условиях стало необходимым условием сохранения еврейского народа.

Я хочу, однако, подчеркнуть, что сионизм всегда был и остается движением светским, свободным от всяких связей не только с традиционным религиозным иудаизмом, но и со всеми его современными философскими модификациями. Герцль, Вейцман, Жаботинский и Бен-Гурион были людьми европейской культуры, и государство, которое они строили, должно было быть государством европейского типа, основанным на европейской системе ценностей, а не на старом, азиатском, религиозном мировоззрении. С другой стороны, очень симптоматично, что такой глубокий философ духовно-религиозного направления, как Мартин Бубер, не мог принять сионизм и разорвал свои связи с ним.

Однако по мере того, как создавались еврейские поселения в Палестине, в арелигиозной в целом массе иммигрантов Первой и Второй Алии стали появляться и религиозные элементы. Особенно усилилась их роль после создания Государства, когда в страну прибыло около семисот тысяч беженцев из стран Азии и Африки, где религия еще сохранила свое влияние почти полностью. С другой стороны, сионизм, как и всякое национально-освободительное движение, создавал повышенный интерес к прошлому народа, к его истории и культуре, а поскольку вся эта прошлая культура была религиозной, то иудаистские тенденции — по существу национальные — принимают некую религиозную окраску.

Посмотрим, каково истинное положение религии и религиозной культуры в современном Израиле и каковы тенденции развития этой культуры.

ПЕРЕД ВЫБОРОМ

В арсенале антиизраильской пропаганды в СССР два обвинения являются излюбленными. С одной стороны, Израиль — это агрессор, захватчик, едва ли не стремящийся аннексировать арабские территории. Что же касается его внутреннего устройства, то Израиль — государство клерикальное, которое живет по средневековым религиозным законам и в котором вся власть принадлежит раввинам.

Первое обвинение, подкрепленное теперь тезисом о "расистском" характере сионизма, столь нелепо, что в цивилизованном мире вряд ли его кто-то принимает всерьез.

Что же касается обвинения в клерикализме, то нужно сказать правду — оно доходило до широких кругов еврейской интеллигенции в СССР, которая вся была абсолютно атеистична и даже настроена по отношению к религии враждебно. Та отрывочная, неполная и неумело составленная

информация об Израиле, которая передавалась по радио, заставляла думать, что, быть может, в этих обвинениях, конечно преувеличенных советской пропагандой, есть все же доля истины.

И это действовало. Меня самого такие мысли в течение нескольких лет удерживали от принятия решения о репатриации в Израиль. Стоит ли в самом деле уезжать из государства тоталитарного, чтобы попасть в государство клерикальное? Думаю, что такие соображения смущают многих и в какой-то степени они способствуют росту числа "прямыков" — евреев, уезжающих из Советского Союза, но не приезжающих в Израиль.

Каково же фактическое положение? В какой мере можно считать Израиль государством клерикальным?

Когда поздней ночью мы, ошеломленные и растерянные, прибыли из Вены в Лод, первым человеком, подошедшим ко мне с приветом и ласковым словом, был очень симпатичный старый еврей, который от имени министра по делам религии предложил подарок: молитвенник, талес и тефилин. Через несколько дней в центре Тель-Авива тот же подарок был предложен другим симпатичным стариком, который даже вызвался научить меня пользоваться молитвенными принадлежностями.

Примечательно: ни в Лоде, ни позже, в маоне, никто не предложил мне не то чтобы в подарок, а хоть за деньги — никаких необходимых новоприбывшему книг светского характера: ни хорошей истории еврейского народа или государства Израиль, ни классиков сионизма — хотя бы избранных сочинений Герцля, Вейцмана, Жаботинского. Позже я узнал, что эти книги, за исключением "Избранного" Герцля, на русском языке вообще не издавались.

И вот, по мере того, как я знакомился с жизнью страны, мое недоумение возрастало. Я с изумлением узнал, что в просвещенном государстве Израиль наряду с системой государственных судов, действующих на основе законов, существует также и система судов раввинских, которые руководствуются средневековыми, а то и более древними религиозными установлениями.

Оказалось, что в 20 веке в Израиле нет государственной регистрации актов гражданского состояния и все то, что наиболее близко касается каждого отдельного человека, — вопросы брака, развода, регистрации детей, усыновления и т.п. — передано в ведение раввинских судов и решается по нормам талмудического права.

Я узнал далее, что в Израиле не работает по субботам общественный транспорт и, стало быть, лишь счастливые владельцы автомобилей имеют возможность по субботам выезжать на пляж, на пикники или посещать своих друзей и родных, а простым смертным это заказано.

Наконец я узнал и о такой чудовищной нелепости, как то, что, согласно первому закону страны — Закону о Возвращении, — дети от смешанных браков считаются евреями лишь в том случае, если их мать была еврейкой. Дети же, рожденные от отца-еврея и матери нееврейки, евреями не считаются. Это уж просто не может уложиться в голове современного человека. Ведь сейчас даже биологи из Бар-Илана не сомневаются в том, что наследственность человека в равной мере определяется хромосомами матери и отца. С точки зрения генетики для сохранения этнической чистоты нации нет никакой разницы между детьми, рожденными в смешанном браке матерью еврейкой и нееврейкой. Какие же основания для установления такой вопиющей дискриминации там, где не установила различий сама природа? Почему? Неужели человечество прошло свой путь от питекантропа до Эйнштейна только для того, чтобы быть вынужденным опровергать столь очевидную для здравого смысла нелепицу.

Все это волновало и тревожило меня, но прошло некоторое время, я побывал в Тель-Авивском университете и Институте имени Вейцмана и начал читать доступные мне газеты. Я начал присматриваться, пока больше по афишам, чем как посетитель концертов и представлений, к культурной жизни страны, начал подбирать кое-какие статистические данные и приглядываться к быту и жизни страны. И стали ясны те причины, которые заставили руководителей государства принять совершенно нелепое согла-

шение о статус-кво. Мне стал ясен временный и преходящий характер этого соглашения, закрепляющего на время — будем надеяться короткое — эти пережитки средневековья в современном государстве евреев.

Посмотрим же, как далеко зашел Израиль на своем пути "из Азии в Европу"? Прежде всего: каково численное соотношение между верующими и неверующими в современном Израиле? Вот несколько фактов.

За все годы существования государства все три имеющиеся в нем религиозные партии ни разу не могли все вместе собрать на выборах в Кнесет больше 15% голосов. То обстоятельство, что Национальная религиозная партия входит в состав "социалистического" коалиционного правительства, а не оппозиции, является скорее результатом довольно беспринципных политических комбинаций и расчетов, чем выражением истинной роли религии в израильском обществе.

Две трети израильских детей учатся в государственных светских, а не религиозных школах, несмотря на то, что многие неверующие родители посылают своих детей, преимущественно девочек, в религиозные школы, считая (правильно или неправильно, это другой вопрос), что там дети получают более устойчивую моральную закалку. При этом нужно учесть, что сейчас в школах еще учатся в основном дети первого поколения иммигрантов, прибывших из стран мусульманского мира, где религия была значительно сильнее, чем в странах Европы и Америки.

Я не знаю точного числа членов синагогальных общин или лиц, регулярно посещающих богослужения. По некоторым оценкам число их составляет 12% от численности еврейского населения страны. Допустим, что эта оценка несколько занижена. Но ведь, с другой стороны, не все, посещающие богослужение и даже не все, исполняющие некоторые обряды, являются истинно верующими. Для многих это больше дело привычки и традиции, чем подлинной веры. Сколько есть таких, что, вернувшись в пятницу из синагоги и поужинав при свечах, над которыми было произнесено традиционное благословение, усаживаются к телеви-

зору, а утром, позавтракав пищей отнюдь не вчерашнего изготовления, садятся в автомобиль и отправляются на прогулку или в гости.

Много ли людей в Израиле чтят святость субботнего дня так, как это предписано галахой? Выйдите в любой погожий субботний день на шоссе, и вы получите ответ: все дороги забиты машинами до отказа.

Когда после войны Судного дня владельцев машин обязали отказаться от пользования ими на один день в неделю, то подавляющее большинство предпочло лишиться себя машины в один из рабочих дней, но не отказываться от удовольствия субботних поездок.

Попробуйте подсчитать, велик ли процент ваших соседей, которые строят шалаш в праздник Суккот? Я произвел такой подсчет и получил процент очень малый. Да и то нужно учесть, что для многих ужин в шалаше — это просто приятная традиция, вроде той новогодней елки, которую все мы украшали для наших детей, когда жили в Союзе.

Велик ли процент еврейских женщин в Израиле, совершающих ритуальные омовения в микве в положенные дни? Во многих ли еврейских домах во всей строгости соблюдаются правила кашрута?

Все это показывает, что в Израиле верующие составляют лишь очень малую долю населения. Я думаю, что доля эта меньше, чем доля верующих католиков в таких странах, как Испания или Италия, и, возможно, она даже меньше, чем доля верующих православных в Советском Союзе.

Все это, может быть, и верно, но не существенно — возразят мне, — важно не то, какой процент населения сохранил религиозность и выполняет обряды, а то, в какой мере религия и ее система ценностей формируют духовную культуру общества. В конце концов, ведь и ученые составляют лишь очень небольшую долю всего населения, а между тем вы считаете, что именно наука является основной силой, формирующей мировоззрение современного человека западной культуры.

Да, в большой мере эти соображения верны, хотя они, конечно, никак не дают религиозному меньшинству права навязывать большинству свою волю в вопросах семейного права или лишать это большинство возможности пользоваться в субботу общественным транспортом.

Но отбросим в сторону арифметические подсчеты. Забудем о том, что в нашем потребительском обществе погоня за деньгами и материальными благами у многих оттеснила на задний план все остальное. Не будем ставить и общего вопроса о том, в какой мере совместима материальная цивилизация и социальная структура современного индустриального общества с религией как базой его духовной культуры.

Просто оглянемся вокруг себя и попробуем честно ответить себе: чем духовно живет еврейское общество в Израиле сегодня? Несомненно, что доминантой духовной жизни сегодня является возрожденный еврейский национализм, забота о сохранении и процветании государства, которое далось нам такой дорогой ценой.

Как и всякое национальное, а особенно национально-освободительное движение, сионизм породил повышенный интерес к прошлому народа, к его истории, ушедшей культуре, археологии, традициям и обрядам. Ведь понятен интерес еврейского народа к своей истории. И поскольку вся прошлая еврейская культура была культурой религиозной, то и интерес к прошлому народа, к его традициям и ценностям принял окраску возрождения религиозных духовных ценностей. Однако если присмотреться внимательнее, то станет ясно, что все иудаистское течение есть течение национальное, а не религиозное. Когда вы стоите на развалинах Масады, вы думаете о последних героических защитниках еврейской государственности, а не еврейской религии.

Если от национальной доминанты в современной еврейской культуре обратиться к другим ее компонентам, то станет несомненным, что элементы западной культуры — наука, проблемы социальные, музыка, живопись, театр и кино — заполняют духовную жизнь израильянина в неиз-

меримо большей степени, чем синагога и Танах, который очень почитают, но мало читают. Да и к Танаху у большинства тех, кто читает его, отношение скорее как к важнейшему памятнику культуры прошлой, чем как к актуальной шкале ценностей современной духовной жизни.

Это у нас, у людей старшего поколения. А у детей наших? Подумайте и скажите себе честно, без самообмана: что в большей мере формирует их духовный мир — телевидение, кино, газета, радио, книга или те элементы религиозного воспитания, которые они получают в школе? Можно ли по совести думать, что следующие поколения будут более религиозными, чем наше?

Нет, приговор истории произнесен. "Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать насажденное" (Екклезиаст, 3).

По-видимому, религия сыграла свою историческую роль. Навсегда она останется великим памятником на пути развития человечества, но никогда уже она не станет движущей силой истории и стержнем человеческой культуры. Две с лишним тысячи лет тому назад умерли веселые и человеческие боги Олимпа и суровые боги римского Пантеона. Обречены на неудачу были попытки Юлиана Отступника возродить их культ. Сейчас тихо "умирает" милосердный и всечеловечный Бог христианства и ревнивый, грозный Бог Избранного народа. Пройдем с благоговением мимо их могил, но не будем делать попыток возродить их к жизни. Не течет река истории вспять.

Итак: Израиль уже сегодня находится в Европе, и следы его азиатского происхождения будут все больше стираться. Израиль будет жить, крепнуть, развиваться так же, как одно из небольших государств Европы, как, например, Швеция или Швейцария, Дания или Голландия.

Это не значит, конечно, что в обозримом будущем исчезнут все национальные различия между Израилем и другими государствами Европейского континента культуры. Нет, следы прошлого так же неизгладимы, как и генетиче-

ски обусловленные особенности ментальности того или иного народа. Израиль несомненно сохранит свою самобытную национальную окраску, но отличия его от других народов будут не глубже, чем отличия, например, Швеции от Италии или Соединенных Штатов от Франции. Вместе с религией окончилась и историческая роль концепции "избранного народа".

Какова будет в 21 веке духовная культура Западного мира, а вместе с ним и Израиля? Какую систему ценностей найдет человечество в эпоху, когда религия уже не может больше быть основой его духовной жизни? Дать сколько-нибудь полный ответ на этот вопрос, — быть может, самый важный из всех, какие волнуют сейчас людей, — конечно, невозможно, но несомненно, что одним из важнейших элементов этого нового мировоззрения будет рациональное мышление и основанная на нем наука.

ФИЛОСОФИЯ И РЕЛИГИЯ



ПАТЕР ЭЛИАС

СУЩНОСТЬ ЕВРЕЙСТВА

С точки зрения католического монаха

Глава I

ЕВРЕЙ ЛИ ОТЕЦ ДАНИЭЛЬ?

Одной из важных вех в истории споров о том, кого считать евреем, явилось знаменитое дело Отца Даниэля. Давайте вкратце вспомним подробности этого дела.

Освальд Руфайзен, молодой польский еврей, во время Второй мировой войны и оккупации Польши немецкими войсками сражался в движении польского сопротивления. Когда за ним охотились гитлеровцы и его жизни угрожала опасность, его спрятали монахи католического монастыря, где он провел некоторое время и где перешел в католичество. После окончания войны Освальд Руфайзен вступил в орден кармелитов и впоследствии стал священником, взяв при этом имя Отца Даниэля. Желая выразить свою солидарность с еврейским народом, страдающим которого он разделял во время оккупации Польши нацистами, Отец Даниэль решил поселиться в Израиле. Он

въехал в Израиль по временной туристской визе, выданной сроком на шесть месяцев; но здесь он обратился к компетентным израильским властям с просьбой считать его новым оле и, соответственно, израильским гражданином — согласно принятому незадолго до того закону о возвращении. Министерство внутренних дел отказало Отцу Даниэлю в его просьбе, мотивировав свое решение тем, что, перейдя в христианскую религию, Отец Даниэль более не может считаться евреем и, следовательно, на него не распространяется закон о возвращении. Тогда Отец Даниэль обратился в Верховный Суд с жалобой на Министерство внутренних дел, указав, что переход в другую религию не изменил его еврейского происхождения и его еврейской сущности.

Члены Верховного Суда большинством голосов поддержали решение Министерства внутренних дел. Однако президент Вейцман ко всеобщему удивлению заявил, что он поддержит решение Министерства и Верховного Суда только в том случае, если в основе его будут лежать светские соображения. Решение суда фактически противоречило и галахе (раввинскому закону). Раввины считают евреем любого человека, рожденного от еврейской матери. Таким образом, Отец Даниэль был в их глазах евреем — конечно, евреем-отступником, но все-таки евреем.

Суд заявил, что его решение является выражением общественного мнения. Однако бурная дискуссия, развернувшаяся в газетах, по радио, на различных собраниях и митингах и так далее, показала, что мнения израильтян на эту тему резко разделились. Главный спор разгорелся между умеренными сионистами и радикальными светскими сионистами. Первые считали, что, переходя в другую веру, еврей перестает быть евреем, вторые считали, что вера в этом вопросе не имеет значения. В целом, дискуссия показала, что израильтяне гораздо лучше понимают, кто не является евреем, чем кто им является.

Положение о том, что еврей перестает быть евреем, если он официально отрекается от иудаизма, многих завололо в тупик. Из этого положения неумолимо следовал

вывод, что религиозная принадлежность человека является решающим фактором при определении его принадлежности к еврейству. Однако если уж применять религиозный критерий, так его следовало применять беспристрастно, не выделяя и не дискриминируя никакой части населения. Еврей перестает быть евреем, если он переходит в христианство или в буддизм. Следовательно, равным образом, он перестает быть евреем, если становится атеистом.

Однако как религиозные, так и светские авторитеты ко всеобщему удивлению единодушно отвергли этот вывод и провели водораздел между изменением религии и отказом от религии. Еврей, который отказался от своей религии, чтобы стать, например, христианином, перестает быть евреем; еврей, который отказался от религии, чтобы стать коммунистом, остается евреем. В подкрепление этого разграничения не было приведено никаких теоретических, философских или богословских доводов, — оно просто было принято как аксиома.

Верховный Суд обязан был, дабы принять законное решение, прежде всего установить, что такое "еврей", — и, исходя уже из этого, определить, что такое "нееврей". Время шло, а авторитеты никак не могли договориться между собою. Запахло международным скандалом: только что образованное еврейское государство, называвшее себя прибежищем для всех евреев мира, понятия не имело, кто такие евреи. Власти были в растерянности. Боясь, что может пострадать "образ" Израиля за рубежом, они несколько раз обращались к Отцу Даниэлю с просьбой взять назад свой иск, но Отец Даниэль, для которого это был принципиальный вопрос, упорно стоял на своем и не желал идти ни на какие компромиссы.

В истории Израиля возникали и другие дела подобного рода — но обычно не связанные с изменением религии. Одним из них было дело капитана Шалита. Шалит, еврей, женился на нееврейке. Ни он, ни его жена не исповедовали никакой религии. Их дети родились в Израиле,

иврит был их родным языком. Однако они официально не считались евреями, и Шалит возбудил дело с просьбой подтвердить еврейство своих детей. В основе его просьбы лежал светский критерий определения понятия "еврей" — этот критерий был принят общественным мнением, но он противоречил критерию, принятому раввинами.

Парадоксальность дела Отца Дениэля заключалась в том, что он сам исходил из экстремистской светской точки зрения по вопросу о том, кого считать и не считать евреем. Еще в юности, будучи участником молодежного сионистского движения в Польше, он пришел к выводу, что еврейство — это вопрос национальности, а не религии. Обращаясь в Верховный Суд, Отец Даниэль, по сути дела, пытался побудить молодое государство официально провозгласить, что оно строится на светских и демократических политических принципах. Ему не удалось это сделать, и дебаты утихли, так и не дав ответа на вопрос.

Раввинов дело Отца Даниэля смутило не меньше, чем светских сионистов. Они-то думали, что за две тысячи лет они выработали-таки рабочее определение еврейства, выдержавшее испытание временем, — и вдруг обнаруживается, что возможен и светский подход к этому вопросу. Неожиданно стало ясно, что в государстве Израиль живут десятки тысяч людей, которые официально считаются евреями, но по законам Талмуда евреями считаться не могут. Раскол между сторонниками светского и сторонниками религиозного подхода к вопросу о сущности еврейства превратился в зияющую пропасть. Если раввины в конце концов предпочли не поднимать излишнего шума по поводу окончательного решения Верховного Суда (который не признал Отца Даниэля евреем, но дал ему гражданство как жертве антисемитизма), то они это сделали лишь потому, что Верховный Суд все-таки отказался считать евреем человека, перешедшего в другую веру. Однако Верховный

Суд поступил таким образом не из религиозных, а из чисто практических соображений. Известно, что многие евреи в диаспоре не переходят в христианство только из боязни порвать со своим народом, стать изгоями. Если бы Верховный Суд Израиля официально постановил, что еврей, сменивший свою веру, все-таки остается евреем, это вызвало бы во всем мире волну переходов из иудаизма в другие религии.

Решение Верховного Суда, таким образом, не дало ответа на вопрос о том, кто является и не является евреем, — оно лишь определило, кого следует регистрировать в качестве еврея. Поэтому по делу Шалита, которое не могло иметь столь фатальных для еврейства последствий, Верховный Суд вынес прямо противоположное решение: детям Шалита было разрешено регистрироваться в качестве евреев.

Я лично считаю, что решение Верховного Суда было совершенно правильным, однако его нельзя защищать одними лишь светскими доводами. Разумеется, Отец Даниэль — не еврей; он — христианин еврейского происхождения, или, еще точнее, христианин-израильтянин. Однако равным образом атеист также не является евреем: его можно назвать светским израильтянином.

ГЛАВА II

СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ И ВОПРОС О СУЩНОСТИ ЕВРЕЙСТВА

Современная история вопроса о сущности еврейства начинается с Великой Французской Революции. Революция распахнула заржавленные ворота еврейских гетто и допустила массы евреев в общество неевреев. Евреи получили равноправие, и последствия этого, как положительные, так и отрицательные, не замедлили сказаться. С одной стороны, выяснилось, что социальная теория

Жан-Жака Руссо, согласно которой общество есть результат социального договора между равными и автономными индивидуумами, вроде бы и не относится к евреям. Еврей оказался членом чуждой религиозной общины — человеком, который равен другим людям в глазах закона, но отличен от других людей. С другой стороны, неевреи — в виде реакции на руссоистский индивидуализм — организовались в национальные государства, враждебно относящиеся к чужакам. Так родился современный национализм. Евреи быстро поняли, что демократические конституции еще не обеспечивают социального равенства, а терпимость — это еще не признание равенства. Современный антисемитизм разгорелся ярким пламенем из угольков антисемитизма былых веков. И дело Дрейфуса показало неспособность демократических законодателей решить еврейский вопрос в светском обществе.

Потрясенный делом Дрейфуса, Теодор Герцль предложил светское же решение вопроса: пусть евреев объединяет не общность веры, а общность гражданства в своем еврейском государстве, которое станет прибежищем для гонимых и дискриминируемых евреев диаспоры.

А тем временем европейская культура продолжала накладывать свой отпечаток на сознание еврея. Она стала для евреев насущной потребностью. Евреи восприняли образ мышления народов, среди которых жили. Ортодоксальный иудаизм, упорно державшийся за старые догмы, подвергался нападкам, стали раздаваться требования религиозных реформ. Некоторые евреи обратились к этическому монотеизму Клаузнера, другие стали атеистами. Увеличилось число смешанных браков. Участились случаи перехода в христианство (по данным П. Боше, в XIX веке христианство приняли примерно двести тысяч европейских евреев). Угроза исчезновения евреев как народа становилась все более реальной. Ассимилированный еврей неожиданно обнаружил, что он совер-

шенно утратил свою еврейскую сущность и мог считать себя евреем только по негативному признаку — то есть как жертва антисемитизма.

Еврейские писатели забили тревогу. Одним из наиболее влиятельных таких писателей был Ахад-Гаам, который предложил создать еврейский Культурный Центр в Палестине, где сущность еврейства основывалась бы на национальных, а не на религиозных критериях.

ГЛАВА III

СВЕТСКИЙ СИОНИЗМ АХАД-ГААМА.

Ахад-Гаам, прошедший полный курс талмудического обучения, пришел к полному атеизму и вдохновлялся учением английских эмпирических философов: Локка, Спенсера и Дарвина. В его учении кристаллизуются широко распространенные среди современных евреев мнения.

Ахад-Гаам отверг раввинское определение сущности еврейского народа, согласно которому евреи суть избранный народ, живущий по Писаному и Устному Закону. С другой стороны, Ахад-Гаам не мог отрицать несомненного факта духовной общности евреев — всех евреев, живущих в весьма отдаленных друг от друга общинах, — не мог отрицать мистического стремления евреев сохранить свою историческую сущность и свою связь с поколениями своих предков. Ахад-Гаам пытался объяснить это Противоречие естественной причиной — неким импульсом, имеющим биологическую природу. Он даже не задавался вопросом, почему этого импульса нет у других народов. Таким образом, сам того не желая, Ахад-Гаам придал своему учению некоторый расистский оттенок. По Ахад-Гааму выходит, что евреи — это особый народ, непохожий на другие народы; правда, сохранение неизменности национальной сущности Ахад-Гаам объяснял

ет не волей Провидения, а биологическими причинами.

Говоря конкретно, мысль об особом биологическом импульсе, свойственном только евреям, представляется совершенно неприемлемой. Наоборот, в эпоху нацизма еврейские биологи особенно охотно опровергали нацистскую расовую теорию, утверждали, что нет особых рас в человечестве. Человеческая раса едина, и видовое единство человека несомненно. В биологическом смысле слова евреи вовсе не являются расой.

В этом вопросе Ахад-Гаам подготовил раскол между умеренными сионистами и крайними светскими сионистами. Сам он был классическим адептом умеренного светского сионизма, который, отрицая Божественное Избрание, считает ощущение общности евреев эмпирическим фактом, с которым следует считаться и на который следует полагаться в сомнительных случаях. Крайние светские сионисты, более рационалистически настроенные, отвергают биологическую теорию Ахад-Гаама и утверждают, что еврейский народ по сути своей ничем не отличается от всех других народов.

В прошлом, утверждает Ахад-Гаам, еврейский народ создал религиозную культуру. Теперь же еврейский народ призван создать в Палестине светскую культуру на основе возрожденного иврита. Место ортодоксального иудаизма должен занять культурный сионизм, который и объединит евреев всего мира, как раньше делала религия. Идея Бен-Гуриона о необходимости переселения всех или большинства евреев в Израиль была чужда Ахад-Гааму. Его еврейский Культурный Центр в Палестине должен был выполнять роль сердца, которое наполняло бы животворной кровью немеющие органы еврейской диаспоры. С другой стороны, еврейские общины, разбросанные по миру, должны, следуя велению прогресса, отказываться от устарелых религиозных догм и воспринимать знание светской еврейской культуры, возрожденной в Палестине и распространяющейся из нее по земному шару. Религия, правда, не будет пол-

ностью забыта, но она займет свое место среди культурных ценностей прошлого, подобно языческой религии греков и римлян, которую люди изучают, но не исповедуют.

По мысли Ахад-Гаама, Культурный Центр в Палестине станет для евреев притягательным ядром. Там будут жить люди, говорящие на иврите, там будут построены школы и университеты с преподаванием на иврите, там будут издаваться книги на иврите, там будут театры на иврите, и так далее. Люди, там живущие, и будут истинными евреями.

Что же такое нееврей, по мнению Ахад-Гаама? Ахад-Гаам счел бы такой вопрос излишним, однако именно этот вопрос тревожил людей, занимавшихся делом Отца Даниэля. Поскольку никакими научными методами мы не можем определить тот биологический импульс, который, по Ахад-Гааму, присущ только евреям, возникает вопрос: есть ли какое-нибудь позитивное действие, которое способен совершить только еврей — житель ахад-гаамовского Культурного Центра? Ясно, что нет и не может быть ничего подобного. Например, в Израиле живут арабы, которые по своей культуре имеют много общего с евреями. Они говорят на иврите, они участвуют в политической и культурной жизни страны, они являются лояльными гражданами еврейского государства, они работают на благо Израиля и, что бы ни случилось с Израилем, готовы разделить его судьбу. Можно возразить, что иврит для арабов — не родной язык. Но в Израиле живет немало христиан, для которых иврит — родной язык; а с другой стороны, для многих евреев, живущих в Израиле чуть ли не с детства, иврит все-таки — не родной язык. Можно также возразить, что нееврей не может чувствовать свою сопричастность к прошлому еврейского народа и не может сам осознавать себя евреем; однако Отец Даниэль своим примером доказывает обратное.

Когда требуется определить индивидуальный статус того или иного человека, субъективные критерии тут

неприменимы. Совершенно очевидно, что атеист не может достаточно полно чувствовать свою сопричастность к прошлому еврейского народа. В израильской литературе многократно отмечалось, что молодое поколение израильтян не чувствует своей связи с тем иудаизмом и тем еврейством, которые существовали до образования государства Израиль. Эта тенденция настолько сильна, что в школах введены специальные программы с целью повышения еврейского самосознания. Практика показывает, что эти программы очень малоэффективны.

Говоря объективно, нужно признать, что израильтяне-христиане, вроде Отца Даниэля, верящего в еврейского мессию, ближе к настоящему иудаизму, чем дети еврейских родителей, выросшие в Израиле и с детства бегло говорящие на иврите, но совершенно утратившие какое бы то ни было религиозное чувство.

На наш взгляд, для решения вопроса о сущности еврейства следует применить два принципиальных критерия. Избранность и Закон.

Определение Израиля как Избранного Народа обладает-таки свойствами определения биологического вида, то есть элементами логически правильного определения, согласно метафизике Аристотеля. Последняя требует как генетического, так и специфического отличия. В случае с Израилем генетическое отличие представлено словом "народ", а специфическое отличие — словом "избранный".

Избранность едина, уникальна и неподвластна времени, она олицетворяет собою дух единства и спаянности, столь характерный для евреев. По самой своей природе, этот дух не может быть свойствен неизраильтянам и не-евреям.

Генетические свойства Избранного Народа многочисленны и аналогичны соответствующим свойствам других народов. Они могут быть объективными и субъективными: объективные — это расовые черты, язык, история, культура, земля; субъективные — это чувство своей сопричастности к своему народу и готовность разделить его судьбу.

Евреи сумели выжить в диаспоре, невзирая на отсутствие общего языка и общей родины. Характерные для евреев внешние черты растворились в результате смешения с другими народами. Тем не менее евреев сравнительно легко распознают всюду, где они живут.

Когда речь идет о народах и национальностях, никакие врожденные особенности или сочетание их не могут быть решающими при определении, принадлежит ли тот или иной человек к этому народу или нет. Можно дать лишь квазиопределение нации, основанное на сумме разных признаков, каждый из которых может отсутствовать у того или иного представителя или даже группы представителей данного народа и в то же время иметься у представителей совсем других народов. Говорят, что у итальянцев черные и курчавые волосы. Но среди итальянцев есть блондины, а среди англичан, например, есть люди с черными и курчавыми волосами.

Поскольку Ахад-Гаам основывает сущность еврейства на биологических факторах, он оставляет свой Культурный Центр без всякой гарантии сохранности этой сущности и не указывает на точные критерии, с помощью которых можно отличить еврея от нееврея. Подобно любому другому обществу ахад-гаамовский Культурный Центр еврейства будет подвержен влиянию исторических пертурбаций. Нельзя ручаться, что сущность еврейства в Культурном Центре не будет разжижена в результате слияния евреев с другими народами, как, например, произошло в Англии, когда туда вторглись норманны и стали жениться на саксонских девушках, в результате чего оформилась нынешняя английская нация.

В современном Израиле умеренный светский сионизм постоянно склонен преобразоваться в радикальный светский сионизм. Эта форма сионизма отрицает как Избранность еврейского народа, так и биологический эрзац Ахад-Гаама. Наиболее законченной формой радикального светского сионизма стало неохананеянское движение. Участники этого движения — это люди еврейского про-

исхождения, говорящие на иврите, но они полностью отказались от какой бы то ни было эмоциональной привязанности к великому прошлому еврейского народа. То, что они выросли и живут именно в Израиле, а не в какой-нибудь другой стране, они считают случайностью, не имеющей особого значения. Они проповедуют слияние еврейского и арабского народов, в результате чего, по их мнению, возникнет новая семитская нация, которая гораздо легче найдет свое место в конгломерате ближневосточных государств и народов, перестанет быть в нем чужеродным элементом. Неохананеяне утверждают, что никаким иным способом нельзя разрешить арабско-еврейский конфликт. В соответствии со своими воззрениями, они стоят за введение в Израиле гражданского брака и одобряют смешанные браки между евреями и арабами. Таким образом, они выступают за коренное изменение сущности еврейства, — а ведь именно для того, чтобы сохранить сущность еврейства в неизменности, Ахад-Гаам и проповедовал создание своего Культурного Центра в Палестине.

Рассматривая вопрос с философской точки зрения, можно сказать, что радикальные светские сионисты, отказавшиеся от любых попыток сохранить специфическую непохожесть евреев на другие народы, дают квазиопределение сущности еврейства, основанное только на врожденных свойствах. Для радикальных светских

сионистов еврейский народ -- это точно такой же народ, как все другие народы, — и, следовательно, он ничуть не застрахован от того, чтобы изменяться в процессе хода истории.

Неохананеянское движение представляет собою светский сионизм, доведенный до своего логического итога, — светский сионизм, лишенный всяческой эмоциональной риторики. Политическая победа неохананеянского движения означала бы окончательный разрыв сионизма с прошлым еврейского народа, что привело бы к пара-

доксальным последствиям: сионизм, созданный для того, чтобы сохранить еврейские национальные ценности, стал бы орудием уничтожения этих ценностей.

Умеренные светские сионисты начинают сейчас понимать, к чему может привести выбранный ими светский путь развития еврейского народа. Они в ужасе отшатываются от неохананеян и подвергают их остракизму. Идя на компромисс с собственными светскими принципами, они признают полезность и даже необходимость (на какое-то время) традиционного раввинского иудаизма и противятся формальному отделению церкви от государства, дабы сохранить еврейство в еврейском государстве. Профессор Барух Курцвейль прав, когда он обвиняет светских сионистов в том, что они ведут дело к потере еврейством своей сущности и поощряют ассимиляцию.

Однако не так уж все мрачно, как это представляется профессору Курцвейлю. Между идеологией и реальностью — пропасть, через которую еще не перекинут надежный мост. Стряхнув с себя шелуху раввинского Закона, светский сионизм невольно обнажил первичный компонент исторической сущности народа Израиля, в основе которого лежит Божественное Избрание. В государстве Израиль этот компонент проявляется с неожиданным динамизмом. Правда, наблюдается явный упадок еврейского самосознания (как пишет М. Бар-Он, "израильтянин, рожденный в Израиле, уже не полностью еврей"), в чем виноват светский сионизм; однако этот упадок касается лишь вторичного компонента сущности еврейства — раввинского закона, который уже утратил свою роль связующей силы, объединяющей всех евреев. Аббат Курт Грубый из Грегорианского университета в Риме пишет: "Еврейский народ оказался способным выжить не благодаря каким-то биологическим причинам или в результате сочетания случайностей. Но потому, что во все, даже самые мрач-

ные периоды своей истории евреи неколебимо верили в свою высокую миссию в этом мире — миссию, которую дал им Бог”.

В государстве Израиль проявились как сильные, так и слабые стороны учения Ахад-Гаама. Его практическая программа создания новой культуры, основанной на иврите, была проведена в жизнь и дала достойные восхищения результаты. Однако теоретические недостатки учения Ахад-Гаама проявились в хронических дискуссиях о проблеме сущности еврейства — проблеме, которую израильтяне не понимают и, видимо, не способны решить.

Результатом идеологического краха умеренного светского сионизма явилось то, что сионисты пошли на компромисс со своими антирелигиозными принципами: они возложили на раввинов заботу о том, чтобы препятствовать смешанным бракам и ассимиляции евреев, они проводят четкое разграничение между евреями и неевреями, они агитируют за то, чтобы неевреи, состоящие в браке с евреями, принимали иудаизм. Союз между светским сионизмом и религиозной ортодоксией скреплен отнюдь не взаимной любовью, но общими интересами; этот союз создает в Израиле атмосферу узаконенного лицемерия. Сколько это может продолжаться?

А принятая недавно поправка к закону о возвращении, разрешающая репатриацию в Израиль людей, у которых лишь отец — еврей, подливает масла в огонь и опять обостряет идеологический конфликт.

Глава IV

СУЩНОСТЬ ЕВРЕЙСТВА И ИУДАИЗМА

Кого можно считать евреем? Раввины отвечают на этот вопрос однозначно: еврей — это человек, рожденный еврейской матерью или же официально принявший иудейскую веру.

Строго говоря, это плохая формулировка, ибо один из главных философских принципов заключается в том, что слово, которое следует определить, никогда не должно включаться в текст определения. Раввинская формулировка — это не точное теоретическое определение, а лишь практическое каноническое правило, позволяющее в каждом данном случае выносить вердикт, является ли тот или иной человек евреем или нет.

Другой недостаток этой формулировки — в том, что в ней синкретно объединены два диаметрально противоположных критерия: биологический (рождение) и духовный (приход к вере); и то и другое, согласно раввинам, ведет к одному и тому же следствию — к приобщению к еврейству.

Из этой формулировки следует, что большое количество евреев (или иудеев — ибо эти слова для раввинов синонимичны) является евреями просто по праву рождения, с самой колыбели.

На наш взгляд, дело обстоит иначе. Новорожденный израильский ребенок может быть назван лишь потенциальным евреем — и то только, если он родился в религиозной семье. В конце концов, иудаизм — это ведь система культурных и религиозных ценностей, к которым человек должен приобщиться. Ребенок вырастает и становится настоящим евреем, если он соблюдает все положенные обряды. Если он пренебрегает ими, его можно назвать верующим евреем, недостаточно соблюдающим обряды своей веры. Если же он полностью отказывается от религии, он становится евреем-отступником.

Однако израильский ребенок, родившийся в нерелигиозной семье, не является даже потенциальным евреем. По праву рождения его можно назвать израильтянином, говорящим на иврите, — то есть членом определенной историко-этнической группы.

Смешение понятий "израильтянин" и "еврей" — старая беда многих авторов, писавших на эту тему. Франц Розенцвейг, например, считает, что еврейство — это нечто врожден-

денное, и в то же время он указывает, что право быть евреем надо заслужить. "Хотя еврей рождается евреем, — пишет он, — однако, чтобы стать настоящим евреем, он должен приложить серьезные усилия". (Никто не утверждал, например, что человек, родившийся от французских родителей, должен приложить какие-то усилия, чтобы стать французом.) Противоречие это тем более разительно, что раввины признают возможность благоприобретенного еврейства — в случае обращения нееврея к еврейской религии.

Формулировка "еврей — это человек, рожденный еврейской матерью или принявший иудаизм", косвенным образом указывает, что имеются два способа приобщения к еврейскому народу; и принадлежность к этому народу есть критерий определения сущности каждого отдельно взятого еврея. Еврей — это человек, принадлежащий к еврейскому народу, подобно тому, как француз — это человек, принадлежащий к французскому народу.

Но что такое "еврейский народ"? Когда кипели страсти вокруг дела Отца Даниэля, люди спрашивали: "Что такое еврей?", но почему-то никто не задавался вопросом: "Что такое еврейский народ?"

Раввины говорят: "Еврейский народ — это народ Израиля, живущий по Писаному и Устному Закону".

В древние времена так оно и было. Все законодательство — политическое и этическое — исходило из религии; все евреи были религиозны, и еврейский народ полностью отождествлялся с приверженцами иудаизма. Когда евреи расселились по диаспоре, они продолжали соблюдать религиозные обряды, и всем было ясно, кто еврей, а кто — нееврей.

Но потом положение изменилось: появились нерелигиозные евреи. Однако и они сами продолжали считать себя евреями, и окружающие смотрели на них как на евреев. Утверждая, что между евреями и иудаизмом существует нерасторжимая связь, раввины апеллировали к мощному чувству патриотизма, которое сплачивало всех евреев (в том числе и нерелигиозных) вокруг иудаизма.

Однако сейчас, когда существует государство Израиль, утверждения раввинов о нерасторжимой связи между евреями и иудаизмом звучат куда менее убедительно, ибо, во-первых, у всех евреев мира появился другой сплывающий центр — еврейское государство — и, во-вторых, все меньше и меньше остается религиозных евреев. Еврейский народ и раввинский иудаизм все дальше и дальше отдаляются друг от друга, и нет никакой возможности перекинуть мост через разделяющую их пропасть.

Однако что действительно нерасторжимо, так это народ и его Божественное Избрание: при этом следует иметь в виду, что Избранность еврейского народа есть нечто гораздо более широкое, чем чисто религиозный вопрос, — это акт воли Бога. И выражением этого Избрания является сейчас существование государства Израиль. Хотят того израильтяне или не хотят, они не смогут избавиться от своей Избранности, даже если они перестанут в нее верить.

Израильтянин, говорящий на иврите, остается израильтянином даже после того, как он отвергает раввинский Закон. Однако пока еще он не осознал, что "израильтянин" и "еврей" — это не одно и то же. С одной стороны, он смешивает эти два понятия, и в этом его поддерживают раввины. С другой стороны, он находится под влиянием теории Ахад-Гаама, согласно которой существует преемственность от религиозного еврейского общества к светскому еврейскому обществу, и при этом сущность еврейства не претерпевает никаких изменений. Есть и практическая причина, которая мешает израильтянину признать, что сущность еврейства претерпела в нем глубокое (хотя и не радикальное) изменение: это — боязнь порвать свои связи с диаспорой, где еще преобладают прежние взгляды.

А тем временем, по мере того, как чисто еврейская сущность израильтян угасает, их чисто израильская сущность становится все сильнее и сильнее — не благодаря совершению израильтянами одних и тех же символических религиозных обрядов, но благодаря причастности израильтян к исторической судьбе своего государства.

Перевел с английского Георгий Бен



Наталья РУБИНШТЕЙН

Б Е З П С Е В Д О Н И М О В И Б Е З Г Р И М А

Человек, который меня более всего интересует, — это русский еврей. Мне он интересен независимо от того, где он живет, какие жизненные пути себе намечает и что он сам о себе думает. Более того, самое интересное — это именно постараться помять, почему он нынче избирает себе уже не те пути, что вчера, и какое место занимает русская судьба в его судьбе, и значат ли что-нибудь его проблемы в сегоднешних проблемах России.

Журнал, для которого я это пишу и который вы сейчас держите в руках, есть именно журнал русского еврейства и как таковой имеет три миллиона потенциальных читателей в России, которым он пока недоступен. Немало у него читателей и в Израиле, и среди них израильяне не только самого последнего призыва; есть и в других частях света, кому читать наш журнал.

Не удивителен поэтому тот угол зрения, под которым берутся в журнале известные литературные и общественные проблемы. Возможно, что этот угол зрения позволяет уви-

деть по-новому не только еврейские, но и русские проблемы, и тем самым может представлять интерес не только для еврейского читателя.

В силу специфики моей профессии я должна признаться, что русский еврей интересует меня и сам по себе, то есть в его житейской и исторической практике, но гораздо больше в его художественных отражениях.

Вот уже около ста лет евреи — заметные участники в русской культуре, а в советское время — представительная часть русской интеллигенции. Где же их литературные портреты? Скажем прямо, до Солженицына еврей и еврейское участие в русской жизни почти не находили высокого художественного воплощения. Почему?

Я совсем не думаю, что вопрос о том, каково истинное отношение Александра Солженицына к роли еврейства в России, не важен. Но важен он только для понимания идейных основ этого чрезвычайно идеологического писателя — для понимания роли еврейства он совершенно не важен, и я позволю себе его обойти, чтобы не длить затянувшуюся дискуссию, во многом продиктованную излишней национальной обидчивостью.

Обид у евреев за всю историю всемирной литературы вообще накопилось много: Шейлок у Шекспира, Фейджин у Диккенса, Исайка у Достоевского, Янкель у Гоголя... Но ведь это вообще нередкий случай, когда инациональный герой получает в творчестве писателя недоброжелательную окраску. У Достоевского если кто и выглядит отвратительнее еврея, то только поляк. Разве Мицкевич сочувственно изобразил русских? Разве Толстой восхищался французами?

Ну так что? О французах мы судим по Стендалю, о русских по Толстому и Достоевскому, о поляках по Мицкевичу. Потому что в галерее культурной памяти мира верны бывают только автопортреты. Предвоенное немецкое еврейство запечатлено Л.Фейхтвангером, в меру его таланта, в "Успехе" и "Семье Оппенгейм" — и советские евреи

охотно читают эти книги, видя в их проблематике многое, созвучное своим чувствам, чего они не находят на русском языке.

Только коснись! Какие списки! Какой предмет для любования и застольной гордости! По гамбургскому счету — Пастернак, Мандельштам... По второму ряду — Багрицкий, Бабель, Светлов, Ильф... Ну и Эренбург, и Каверин, и Гранин... Казалось бы, им и перья в руки, им бы и рассказать о еврейской русской судьбе, от них только и ждать портретов, ответов — кто он такой русский еврей? В родстве или в соседстве живет он в России, и принят ли в новую родню, и помнит ли старую?

ЗАБЫТЫЙ "ХАОС ИУДЕЙСКИЙ"

Редкий еврей, писавший на русском языке, отводил в своем творчестве еврейской теме сколько-нибудь значительное место. В литературе первых послереволюционных лет, у Бабеля, Багрицкого или Уткина, еврейская тема звучала как тема разрыва с национальной традицией, с наследием отцов ради интернационального (а на деле, безнационального) коммунистического идеала. В "Шуме времени" у Мандельштама ради праздника великой русской речи был повержен и забыт "хаос иудейский" (другого слова не нашлось у поэта для невнятного ему мира недалеких предков) — не знал тогда Мандельштам, что насовсем ему от иудейства уйти не дано и что потребует эта тема дальнейших соприкосновений.

В русской прозе советского времени, кроме знаменитого Левинсона у Фадеева (и опять же характерно, что Фадеев — русский — счел эту подробность в своем герое важной), где еврею уделено сколько-нибудь значительное место? Эренбург еще, тщательно соблюдая пропорцию, вводил в свои рыхлые романы героев с еврейскими фамилиями, следя за тем, чтобы совсем уж в главные они не пролезали; Каверин был порою не прочь поместить какую-ни-

будь Розалию Наумовну, по отзывам других персонажей "отличную, превосходную женщину", на периферии своих умело сплетенных сюжетов, и среди знакомцев любимого героя Сани Григорьева мелькали то Гриша Фабер, то Сема Гинзбург или Миша Голомб — но никогда они или им подобные не допускались в центр повествования. И у Бруно Ясенского, или Германа, или Гранина — не Бог весть какая все это литература, но ведь этой беллетристической долгие годы питался простой советский интеллигент, и, пожалуй, это было еще лучшее в досамиздатовскую эпоху — никогда в их индустриальных, медицинских, военных романах не выходили на первый план евреи-строители, евреи-ученые, евреи-военачальники — словно такие и не встречались им в жизни. Разительен пример Вениамина Каверина! Два его ранних романа ("Исполнение желаний" и "Скандалист, или вечера на Васильевском острове") восходят к той среде, которую он знал превосходно и к которой принадлежал сам, к среде ленинградской гуманитарной интеллигенции. Круг этот известен, и к нему среди прочих принадлежали Ю.Оксман, и Б. Эйхенбаум, и В. Шкловский, и Л. Гинзбург, и Г. Гуковский, и Н. Берковский. Но перейдя от прототипов к типам, В.Каверин счел не важными национальные подробности. Он сделал это несомненно искренне, и герои его, скорее всего, были бы того же мнения. Широкое научное мировоззрение чуралось узкого предрассудка, национальность была для них делом свободного выбора, продиктованного случайной удачей рождения и профессиональным пристрастием к русской культуре. Автор и его герои считали себя подданными российской словесности и только ее одной.

Итак, ассимиляция, растворение без остатка было внутренней тенденцией в движении русских евреев к культуре. Могла ли их позиция быть иной? Исторически — нет, не могла, потому что замечательную тенденцию к выравниванию продиктовала им советская власть, большая любительница стирания всех и всяческих граней — между городом и деревней, между умственным и физическим трудом, между мужчиной и женщиной, между свободой и необходимос-

тью. Этот идеал социалистического равноправия удачно выразил герой одной маленькой повести Владимира Марамзина: "При коммунизме даже самый последний еврей будет русский". Беда только в том, что огромная часть русских евреев приняла этот вариант своей судьбы как наилучший, проявляя озабоченность и недовольство только тогда — и по сей день это именно так, — когда встречала препятствия на пути к его реализации. И хотя была и другая тенденция — тенденция к развитию национальной еврейской культуры в рамках советской, — она была слабее и малочисленнее, чем жадное стремление к овладению русской культурой и полному в ней растворению.

Между тем в предреволюционные годы намечался и другой вариант еврейско-русского интеллигента, вариант, предполагавший принадлежность к двум большим культурам, предполагавший обогащение, а не оскудение души — вариант С.Дубнова и Вл. Жаботинского. Путь, после революции оказавшийся вовсе не возможным .

ФИГУРА УМОЛЧАНИЯ

Весьма динамичный процесс вхождения евреев в круг русской интеллигенции литературой советских лет словно бы и не был замечен. Но когда старая русская интеллигенция была сметена и размыкана по миру октябрьским морозным поветрием, в стране, которая, при всех условиях, без мозга существовать ведь не может, стала складываться интеллигенция новая, и евреи были ее существенной частью. Новая власть более всего стремилась к разрыву со старой духовной традицией, ей нужна была бескорневая, послушная новой идеологии интеллигенция, которая быстро приобрела бы необходимые профессиональные навыки и не слишком задумывалась бы о смысле жизни, целиком предоставив все раздумья "руководящим товарищам". И первый заградительный барьер был выставлен стремлению к образованию детей из прежних образованных кругов — дворянства, священства, купечества. Евреев

новая власть к культуре допускала — они несомненно были из прежде угнетенных, а в потоке новых рекрутов культуры обладали существенными преимуществами: сказалась вековая привычка к грамоте, в генах записанная почти-тельность к учености и книге и твердое убеждение, что лишь превосходство труда и знания дадут возможность распрямиться тугой пружине деятельного, преобразующего мир честолюбия. Поколение еврейских студентов двадцатых годов было первым еврейским поколением, смолоду пробившимся к безакцентной русской речи и обучившим ей своих детей. "Пролетарский интернационализм" сулил избавление от клейма приниженности; молодые евреи — едва ли не все! — были интернационалисты. Национальная идеология в родителях казалась следствием их невежества, в сверстниках — смешным пережитком. Сионисты исчезли вскоре с поверхности жизни: кто не покинул Россию — пропал в "стране Зэка".

Но дело в том, что только национально мыслящий интеллигент может быть настоящим интернационалистом, если понимать под интернационализмом не убогое и бессмысленное растворение одного в другом до полного исчезновения индивидуальных признаков, а уважение к множеству национальных структур, к бесконечно различающимся моделям национального сознания. Потеряв интерес к еврейским национальным ценностям, многие евреи России видели в себе отныне только русских интеллигентов, с их точки зрения, неотличимых от русских по рождению. Их дети — Сережи, Вадимы и Игоря — росли на русских народных сказках и древнегреческих мифах, без всякой нужды в сказаниях о Самсоне или Давиде и Голиафе — вредном "опиуме для народа". (Когда власти разгромили еврейский театр, упразднили еврейскую школу и закрыли еврейскую газету, они больно уязвили в евреях чувство справедливости и равноправия, но не лишили их жизненно важных национальных институтов.)

Евреи, ставшие русскими писателями, не видели поначалу нужды подчеркивать в себе и в своих героях национально-специфическое. Русские псевдонимы избирались не

из желания спрятаться (долгое время казалось, что прятаться незачем и не от кого), а отражали внутреннее самочувствие прибегнувших к ним писателей. Их собственные еврейские имена стали казаться странными и чужими их обрусевшему слуху, и в литературе их звали Светлов, Голодный, Каверин, Гранин, Володин, Ильин, Зверев...

Фигура умолчания вокруг еврея и еврейского участия в русской жизни была создана советскими евреями, действовавшими в русской литературе, добровольно и гораздо раньше, чем эта тема попала в разряд официально закрытых. И это соответствовало внутренней установке русских евреев, желавших как можно скорее достигнуть интернационального идеала, забыть и черту оседлости, и черты национально-своеобразной духовной жизни. При торжестве атеизма это было особенно легко, поскольку еврейство в России (да и повсеместно в диаспоре) не имело других национальных ценностей, кроме духовных, кроме религиозных.

Вторая мировая война должна была заставить вспомнить о многом даже самых непамятливых. И так оно и было, чему свидетельством рассказы В.Гроссмана, стихи Алигер и Эренбурга. Сошлемся только на одно поэтическое свидетельство, очень, впрочем, известное:

Горе! — открылась старая рана:

Мать мою звали по имени Хана... (И.Эренбург)

Послевоенная литература дала бы, возможно, иное направление движению еврейской темы, но уж и тема сама переходила из добровольно опускаемых в список высочайше запрещенных.

Антисемитская политика, начатая Сталиным с конца сороковых годов и успешно продолжаемая по сегодня его наследниками, была, с определенной точки зрения, вариантом старинной вражды советского государства с просвещенным, самостоятельно мыслящим классом.

ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ БАРЬЕР

Самодержавные правители прошлых веков не допускали, или неохотно допускали, простолюдина к образованию. Но внутри образованного класса шла селекция, наследственно передавались духовные ценности и закреплялась традиция независимой мысли. В истории России почти нет ни одной сколько-нибудь значительной аристократической семьи, которая не подарила стране серьезного художника, ученого или политического деятеля. Разбогатеть можно вдруг, дорваться до власти внезапно, но духовная элита создается трудом не одного поколения — она возникает там, где внук начинает подъем к вершинам не от подножия, а с того места, на котором закончилось восхождение отца, следовавшего за дедом. И если такая духовная аристократия сложилась и существует, вход в нее облегчен и раскрыт для того, кто своими собственными шагами способен прийти не только свою часть пути.

В нынешнем столетии неграмотный работник — не работник. И советская власть от первых дней за "ликвидацию безграмотности". Она вкладывает в руку народа книгу, но только ту, которую ему сама назначит. Она за "воспитание кадров", но против сохранения интеллигенции. Ей нужны спецы, а не аристократы духа, и поэтому она за обучение, но против просвещения, за оснащенность ума против укрепления сердца. Протягивая крестьянину букварь, она отбирала у него Библию. Она последовательно желала и желает просвещения народа по установленному лимиту через государственный распределитель — школу и ВУЗ. Культура нормирована и отпускается по карточкам: отсюда "спехраны" в библиотеках, закрытые просмотры и вооруженные особым знанием инстанции, решающие, какие фильмы, спектакли и книги вредны, а какие полезны советскому человеку. Да ведь, сверх всего, за полсотни лет сколько и каких накопилось тайн! Не припрячьешь — так сквозь архив и библиотеку все и вытечет наружу. Наружу и так уж

вытекает, но у себя-то внутри хоть постараться получше припрятать! Оттого и вражда к памяти, к традиции, к наследственной интеллигенции.

Первое поколение советских интеллигентов было действительно поколением самоотверженно преданных новому строю спецов. А и то избивалось жестоко, чтоб не успело утвердиться в каких-то там самовольно нажитых мыслях. В одном только предположении о возможном подъеме — после войны — еврейского национального самочувствия как было Сталину не обрушить на эту часть советской интеллигенции всей силы своего смертельного гнева?! А уж у первопризванных к культуре еврейских интеллигентов и дети подросли и, с младенчества обласканные наукой и творчеством, не всегда готовы были родительские идеалы принимать без поправок. Это, конечно, не только еврейской части русской интеллигенции касается, но эту еврейскую часть так легко было выделить среди других, да и количественно она была очень существенна, и для срежиссированного гнева советского народа была желанным и очевидным объектом. А заградительный барьер перед укоренением духовной традиции, перед наследственной передачей культуры в недозволенной дозе вновь был воздвигнут, на этот раз в виде "пятого пункта" — вариация того же, что и прежде, пункта о социальном происхождении.

Как дозволенная советская литература откликнулась на эту боль? Как она могла на нее откликнуться, если главная боль огромной страны — послевоенный колхозный голод и лагерное рабство миллионов — отозвалась "Кубанскими казаками", торжественным гимном киноплодородия, и производственным романом "Далеко от Москвы", где законопослушный автор передел своих героев из нумерованных бушлатов в комсомольские тужурки? Но уж даже и такой фильм, как довоенные "Искатели счастья", — веселая брехня о социалистическом отечестве советских евреев, счастливом Биробиджане, — был после войны невозможен. Слово "еврей" выпало из словаря советского искусства, как некое явное неприличие. И чем настойчивее и

трагичнее звучала национальная тема в послевоенной жизни, в личной судьбе русского еврея, писателя, артиста, врача, инженера, тем запретнее и невозможнее становилась она в литературе. Еврею не находилось места в романе, поскольку ему посвящались иные жанры — газетные фельетоны, антисемитские карикатуры и обличительные судебные постановления.

ТРЕЗВОЕ ЗЕРКАЛО СОЛЖЕНИЦЫНА

И так до Самиздата, точнее до Солженицына. Мелькнуло еще в "Денисовиче", крупно встало в "Круге": есть в России еврейская тема, боль среди других болей. И не в симпатии тут или антипатии к евреям дело, а в снятии фигуры умолчания. С Солженицыным к литературе вернулась совесть, и она перестала быть прирученной партией дозволенной словесностью. Писателю, правда, думается, что в его собственной воле выбирать, какой боли касаться, а какую и обойти. Похоже, что евреи как бы и без особого на то желания автора проникли в мир его обнесенного колючей проволокой эпоса. В книге "Бодался теленок с дубом" Солженицын приводит не лишнюю самодовольства реплику, брошенную им в редакции "Нового мира": "Такое уж мое свойство. Я не могу обминуть ни одного важного вопроса. Например, еврейский вопрос — зачем он мне нужен? Спокойнее миновать. А я вот не могу".

В романе Солженицына "В круге первом" впервые выдвинулись из тени на просцениум повествования среди прочих героев герои, носившие еврейские фамилии и наделенные узнаваемыми житейскими чертами. Это совсем обязательно, чтобы в литературе было, "как в жизни", но поэтика Солженицына — трезвое зеркало, поставленное пе-

ред искаженным ужасом лицом человечества, — допускает подойти к его романам с критерием верности жизни. И Рубин, и Ройтман, и Адамсон, и Каган узнаваемы в лицо и не раз встречались нам в жизни. И любой из них, независимо от авторской симпатии, наделен авторским сочувствием, сочувствием творца по отношению к своему созданию.

С Солженицыным воскрес великий русский роман и, воскрес тогда, когда, по открыто-печатному литературному процессу судя, был он уже как бы при смерти. О гибели романа толковали и в России, и на Западе много, даже симпозиумы по проблемам романа собирали. А предсказана гибель эпосу XIX века была давно — маленькой статьёй О.Мандельштама "Конец романа": "...акции личности в истории падают и вместе с ними падают влияние и сила романа...", "...человек без биографии не может быть тематическим стержнем романа"... , "..интерес к психологической мотивировке... в корне подорван и дискредитирован наступившим бессилием психологических мотивов перед реальными силами, чья расправа с психологической мотивировкой час от часу становится более жестокой" . Сегодня видно, что эта отходная главному жанру очень рано (в 1928 году) обозначила точку перелома в его движении и содержала пророчество о романах Кафки, Фолкнера, Солженицына. Книги Солженицына — жизнеописания людей без биографии, летописи страны, у которой похитили Историю. Сила солженицынской прозы, ее главный нерв в той новой мере трагизма, с которой соотнесены пределы обесцененной человеческой жизни в нашем столетии. Здесь причина того жгучего интереса, с которым должны были бы читать Солженицына особенно в так называемом "свободном мире", неуклонно и ежедневно сжимающемся на наших глазах. Здесь и ответ на вопрос, зачем же Солженицыну сторонний еврейский вопрос, без которого, конечно, спокойнее было бы великому писателю, мыслящему в категориях русского национального возрождения. Но писателю, чья тема современный трагический мир, как обойти еврейскую судьбу, в которой сгущение трагизма в жизни произошло по законам библейского эпоса?!

ОТКРОЕМ "КОНТИНЕНТ"

Вся непроданная, или даже только желающая казаться такой, нынешняя русская литература не может "обминуть еврейский вопрос", хотя и "зачем бы он ей нужен", и, уж конечно, гораздо бы "спокойнее миновать". Судьба еврейства в России — важная часть еврейской судьбы, но и в русской судьбе — немаловажный вопрос. Как судьба евреев в предвоенной Германии — важный момент в нравственной жизни сегодняшних немцев.

Возьмите журнал "Континент", представляющий свободное русское слово, только что вырвавшееся из-под спуда. Количество еврейских фамилий в журнале закономерно отражает степень еврейского участия в разных направлениях движущейся русской мысли: еврей-христианин, еврей-атеист, еврей-демократ, еврей-буддист и даже еврей-антисемит встретятся нам здесь. Правда, еврея-сиониста вы здесь не встретите. И это справедливо, потому что такой случай свидетельствовал бы о схождении с собственно русских путей на пути своей собственной истории. Да и сюжетно еврейская тема звучит в журнале с такой напряженностью, с какой она уже десятки лет звучит в реальной российской жизни. Ничем особенно как произведение искусства не замечательная, повесть В. Корнилова приметна как свидетельство о бедной советской юности, сдавленной грозными обстоятельствами идеологического террора послевоенных лет и не имеющей внутренней опоры в самой себе, поскольку убеждения и нравственность ее во многом подобны тем жестким конструкциям, которые обеспечивают давление внешнего мира, и сформированы ими же. Обилие знаков вопроса, напор недоумений лишают героя четкой идейной схемы, навязанной ему с младенчества вместо мировоззрения, — и это ставит его на грань самоубийства. Среди вопросов о войне, вожде, народном голоде, тайных и явных расправах не мельче выглядит "еврейский вопрос", тревожно взывающий к совести героя как явное расхождение теории и практики коммунистического вероучения.

"Наседка" — повесть, написанная евреем Иосифом Богоразом, — имеет своим материалом предвоенные годы, прошедшие под знаком "большого террора", и действие ее происходит в тюремных камерах и кабинетах следователей. И здесь нравственное испытание проходит не только сам человек, но вместе с ним система внушенных ему и принятых им ценностей. В отличие от повести Корнилова герой здесь — не только жертва моральных отравителей, он и сам из отравителей и, с точки зрения спокойно-иронического автора, не безвиновен, ибо легкомысленно-искренне и добровольно слеп. Собственно, вся повесть проходит в сопротивлении героя неизбежному прозрению, потому что возвращение зрения сулит ему новые тяжести: знание правды о своей роли в жизни, принятие напрасного гонения как справедливого исторического возмездия за эту роль и трудную работу перестройки своего внутреннего мира. В повести есть персонажи, носящие еврейские имена, но не несущие никакой своей национально окрашенной проблематики, не подозревающие о ней. Это верная черта для того круга людей — вчерашних членов партийной элиты, из которого взяты герои повести, и это верно для времени ее действия, когда "еврейская проблема", с уже свершившимися руками еврейских коммунистов гонениями на иврит, закрытием синагог и торжеством "евсекции", проложила путь великой и кровавой борьбе против "безродных космополитов" (и впрямь "безродных", ибо сознательно отбросивших родство), но не проступила еще наружу в виде проклятого "еврейского вопроса".

Мы движемся не по хронологии советской истории, отраженной прозой "Континента", но по хронологии выхода в свет его номеров. Однако легко получаем свидетельства о состоянии еврейской проблемы в России в разные десятилетия, хотя для авторов и редакции это, пусть и важный, но боковой вопрос. Всплывает еврейская тема как автобиографическая подробность в "Опыте поэтической биографии" Наума Коржавина.

"МОИСЕЯ И БУДДУ ПРИНИМАЯ РАВНО..."

Наум Коржавин выпустил в России всего одну книжечку стихов, а известен был читателям и либителям поэзии очень хорошо и широко как один из зачинателей своеобразного направления лирической публицистики. Ему в высшей степени свойственно умение вдвинуть в краткую поэтическую формулу важную гражданскую мысль или напряженное общественное переживание. И ныне в эмиграции он чувствует себя представителем России и русской поэзии. В первом номере журнала "Время и мы" опубликована была поэма Н. Коржавина "Бабий Яр", так что то, что ниже будет сказано о равнодушии поэта к еврейской составляющей его души, как бы сразу опровергается наличием в его поэзии еврейского сюжета (сюда можно было бы добавить и поэму-размышление о роли евреев в русской революции "Абрам Пружинер", где "молодых славянофилов романтические умы" осуждаются за антисемитский аспект их исторических концепций). Нужно думать, что еврею, для того чтобы быть русским, недостаточно чувствовать и видеть себя таковым, необходимо, чтобы и другие, а особенно деятели той культуры, с которой он органически и навечно считает себя связанным, видели в нем русского деятеля. Несмотря на утверждение, что никаким антисемитам уже не удастся оторвать его судьбу от русской судьбы, Наум Коржавин, видимо, на разных уровнях сталкивался с такими попытками — иначе откуда бы и заявление? — и понял, по видимому, что звучание еврейской темы в его судьбе зависит не только от его свободного выбора. Но в журнал "Континент" Н. Коржавин пришел не с поэмой о "Бабьем Яре", а с "Опытом поэтической биографии".

Н. Коржавин в этой вещи избирает темой эволюцию своих взглядов, от последовательно коммунистических до сегодняшних христианско-демократических. Фактам этой эволюции автор придает чрезвычайно широкое значение. В номере третьем "Континента" он публикует, например, стихотворение "Credo" датированное 1957 годом. Хотя кре-

до автора в наши, семидесятые годы, как это ясно из написанного им, совершенно не тождественно его декларации 1957-го, поэт охраняет его как памятник развития собственной мысли, сумевшей отбиться от марксистско-ленинской нетерпимости и в ту пору находившейся на стадии полного духовного релятивизма.

**Верю в Бога любого
И в любую мечту.
В каждом чту его Бога,
В каждом черта не чту.**

А раньше двадцатью строками говорилось даже: "Гордый дух атеизма Чту — коль в нем человек". И вот только атеизм и оказался хоть как-то эмоционально расцвечен — не Бог вещь как, газетным клише, правда, но все же вещь — уважительно — остальное в холодном перечислении:

**...В Магомета я верю
И в Иисуса Христа.
Больше спорить не буду
И не спорю давно,
Моисея и Будду
Принимая равно.**

Вот и "Опыт поэтической биографии" есть история духовного движения Наума Коржавина, интересная для нас в данном случае в той мере, в какой свидетельствует о месте еврейской проблемы в сознании еврея, полностью отождествляющего себя с русской интеллигенцией. Из послесловия мы узнаем, что работа написана в 1968 году и авторская мысль успела уже отодвинуться от итогов восьмилетней давности. Однако, публикуя ее сегодня, автор указывает тем самым, что существенно позиций своих не изменил. Для Коржавина нет еврейской проблемы ни в собственном сознании, ни в общественном бытии России,— для него есть только проблема антисемитизма, волнующая его как некое ущемление гражданских прав личности вообще — это со стороны властей и как проявление элемен-

тарного хамства — со стороны человека из массы, невежественного или полубразованного. Он даже как-то особенно настойчиво демонстрирует равнодушие к факту своего еврейского происхождения, ничуть не считая это сколько-нибудь важной подробностью своей человеческой и поэтической биографии: "Я прошу у читателя прощения за то, что так много внимания уделяю здесь еврейскому вопросу и антисемитизму. Тем более что до сих пор в моей жизни и творчестве меня занимали другие "русские", тоже достаточно проклятые вопросы". Никакою своею частью Коржавин не привязан ни к еврейству, ни к Израилю, и его доброжелательные декларации ("Я заявляю прямо, что, оставаясь тем, кем я был всегда, я тем не менее считаю себя заинтересованным в существовании государства Израиль") есть не более чем выражение чувства "всякого честного человека". В личном плане Израиль нужен Науму Коржавину, чтобы решительнее от него оттолкнуться — "...хотя бы потому, что могу добровольно туда не ехать. Как, допустим, Кюхельбеккер не уезжал в Германию — потому что добровольно считал себя русским. Добровольно, а не потому, что ему некуда было деваться." Это важное свидетельство, позволяющее судить, как далеко зашел бы процесс ассимиляции евреев в России, если бы политика советских властей не закрывала этот путь.

Что так чувствует не один Коржавин, видно из того, какие маршруты выбирают себе многие евреи, покидающие сегодня Россию. Израиль для них — ключ, открывающий дверь тюрьмы, но не дом и семья, куда надо вернуться. Уже написана книга о невозможности для еврея ассимилироваться в России, сохранив свое человеческое достоинство. Это книга Г.Свирского "Заложники". Больше, чем об антисемитизме советской власти, она рассказывает о несостоятельности внутреннего стремления к ассимиляции. Но так далеко в анализе происшедшего с ними обрусевшие евреи заходят редко.

Путь ассимиляции, смертельный для народа, есть путь возможного существования для отдельных людей. То,

что и в пределах отдельных биографий он оказался невозможным в России, заставляет евреев покидать Россию сегодня, но их не оставляет мысль, что то, что не удалось в "братской семье народов Советского Союза", удастся им в Америке или в Канаде. Таким образом, как и Коржавин, они заинтересованы в существовании государства Израиль, чтобы добровольно туда не ехать. Таковы наши потери, неизбежные после пятидесяти лет духовного стремления к полному растворению в русской жизни и культуре.

ДВЕ КУЛЬТУРЫ — ДВА ОТЕЧЕСТВА

Для еврея в диаспоре, в догитлеровской Германии, сегодня в Европе или Соединенных Штатах, как часто бывает характерно бинациональное сознание, привязанность к двум отечествам, пристрастие к двум культурам, — и как же оно обогащает его! В сознании советского еврея, как оно представлено нам "Опытом поэтической биографии" Наума Коржавина, русское начало не сочетается с еврейским, а нацело вытесняет и отменяет последнее. Но полностью русским поэт себя ведь ощутить все-таки не может. "Люблю этот народ". — говорит он там, где русский поэт сказал бы: "Люблю мой народ." И думается, что забвение еврейского корня обедняет и русского поэта.

Неотъемлемая часть русской жизни этот самый еврейский вопрос:

**... "На углу Садовой какие-то трое остановили меня.
Они сбили с меня шапку. Засмеялись и спросили:
— Ты еще не в Израиле, старый хрен?!
— Ну, что вы, что вы?! Я дома, я — пока — дома.
Я еще летаю во сне. Я еще расту".**

таково прозаическое завершение лирического стихотворения Александра Галича "Воспоминания об Одессе." Так вспыхивают два этих слова "еврей" и "Израиль" среди ностальгических стихов, опытов биографий, размышлении о

русской судьбе и еврейской ответственности за эту судьбу. Ныне перед русским евреем, как перед былинным богатырем, лежат три дороги: навечно остаться "инвалидом пятого пункта", стать гражданином Израиля или присоединиться к русской эмиграции. Процент евреев в третьей эмиграции также высок, как среди современной русской интеллигенции — ведь она, эта эмиграция, и есть кусок русской интеллигенции. Даже, наверное, среди новоэмигрантов евреев больше, чем среди московских интеллигентов: евреев ведь более или менее выпускают из России, хотя и не всех, а русских только за выдающиеся заслуги перед русской культурной и общественной жизнью. Евреи так прочно срослись с русской действительностью, что вписываются в любое течение мысли, возникающее в России, становясь деятелями русского демократического движения, христианского возрождения и даже стремясь приблизиться к крайним националистическим группировкам, совсем не жаждущим их участия.

Журналу "Континент", может, и не следовало публиковать рассказ А.Суконика "Мой консультант Болотин", даже не рассказ, а — забытый ныне жанр — физиологический очерк, но вышло так, что с этим рассказом мы получили выражение крайней позиции еврейского ассимилянта, столь неприязненной к еврейской судьбе, что и антисемиту было бы нечего добавить. Любимые измышления о всесиилии евреев в послереволюционные годы, о еврейском засилье, о вине евреев, столкнувших Россию с ее святых путей в объятия марксистских комиссаров, легли в обоснование идеологической неприязни, но она усилена неприязнью физиологической и содержит описания еврейской неопрятности, запустения, которое еврей приносит с собой в мир, отвратительно-лицемерной манеры держаться, — словом, спросите вашу соседку по бывшей коммунальной квартире, — она с удовольствием согласится с Сукоником. Рассказ уже был по достоинству оценен и в русскоязычной, и в европейской прессе, и нет причин задерживаться на нем дольше.

В "Записках зеваки" Виктора Некрасова с еврейской судьбой, с еврейской бедой в России связаны два эпизода. Написанное Некрасовым отличается всегда верным и чистым нравственным звучанием. Я совсем не думаю, что "Записки зеваки" — такая уж большая удача для этого автора. Документальное следование жизни постоянно как-то недоволощается в художественное, повествование монотонно обтекает разные точки во времени и пространстве, связывая их по прихоти памяти, но чистота и верность тона радуют слух. Вещь написана в два слоя — соединяет вариант новомировский, согласованный с внутренним цензором и внешним редактором, доведенный до набора и в наборе рассыпанный, с вариантом сегодняшним, добавляющим то, что было проглочено тогда, три года назад, с тем, что жизнь дописала к "Запискам зеваки" сама за три года, превративших члена Союза писателей в русского писателя в Париже. Ну и что же? Подцензурные записки отличаются ли от печатных? Отличаются. На объем информации они отличаются: подробнее о Париже — восстанавливает автор пропуски времен шестьдесят второго года да попутно вводит свое нынешнее выступление о несъедобном стандартном меню, ежедневно подаваемом читателю советских газет: "Жри, что дают!" Рассказ о том, как вычеркивали выпивку редакторы некрасовской повести — как же! вредно читателю! — и "добавляли" с автором в редакционном буфете — что читателю вредно, то автору вовсе не во вред; и эпиталама водке, старинной утешительнице во многих русских скорбях. И авторские прогулки по Киеву и Москве, с архитектурными отступлениями, дополнены рассуждениями о родной "наглядной агитации" в пользу братского народа борющегося Непала и красотами киевской рекламы, поднятой над лентами магазинных очередей. Вид из парижского окна, прогулка по Сене — из сегодняшнего времени, но идущий маршрутом писательской памяти киевский троллейбус вдруг привозит нас на довоенный Крещатик, а следующую остановку делает вновь в Париже, но не в том, в котором автор живет сейчас, а в том, в котором прошло его детство.

Ностальгические мотивы были бы, как справедливо полагает писатель, неполны без портретов молодых безликих стукачей, деловитых описаний услужливых производителей обысков и полезных бесед с офицерами КГБ.

Да, объемнее эти "Записки" тех, что погибли в "Новом мире", полнее. А удивительное уважение вызывает тот факт, что и тогда, в сдавленном варианте, были бы они все те же. Может, будь короче и в теперешнем своем появлении, не проиграли бы. Голос и раньше был все тот же, и позиция не вызывала сомнения. И такой уж тогда был удивительный у "Нового мира" читатель, что ему хоть малую часть покажи — он не хуже самого Кювье, весь скелет по одной лишь кости достроит. Ты ему лишь коротенькую страничку про Бабий Яр — он и сам поймет, что автор еще договорить хотел, что у него в горле застряло. Так что нельзя сказать, что набор совсем уж напрасно рассыпали. На страничке о Бабьем Яре и застопорило, — рассказывает Некрасов. А всего-то и было: есть такой Яр, и трагедия его известна, и лежат там евреи, и камень гранитный и возле него — цветы. "Мы тоже положим свой букетик". То есть как это букетик? То есть как это "каждый год, 29 сентября сюда приходят люди с венками и цветами"? Что же это автор думал, что читатель догадается, а начальство, значит, и не заметит, как он в свои "Записки" сионистские сборища протаскивает? Не позволим! — и не позволили.

Вот теперь вместо букетика кладет писатель к серому камню описание митинга 1966 года, первого митинга в Бабьем Яру, в 25-ю годовщину гибели киевских евреев, с описанием многотысячной толпы, неутвержденных свыше речей (своей и Ивана Дзюбы) и полным набором партийно-милицейских последствий для участников. Только однажды растерявшееся начальство допустило "сионистское сборище", а со следующего года организованно возглавило "День памяти жертв временной немецко-фашистской оккупации" — с речами по проверенной бумажке, стукачами и воронками к услугам всех собравшихся.

И дополнен этот эпизод у Некрасова картиной разрушенного, разбитого старого еврейского кладбища — "ра-

бота планомерная, сознательная. С применением техники. Без бульдозера или трактора, а то и танка не обойдешься". Так зачем Некрасову пресловутый "еврейский вопрос", почему бы ему и не обминуть его? Что у него своих бед, что ли, мало? А взрывается волнением эта спокойная проза о многих странствиях, многих бедах единственный раз и именно в этом месте... Потому что это никакой не еврейский вопрос. Это самый настоящий "русский вопрос". И вот он перед нами, сформулированный Виктором Некрасовым:

"Я задаю себе вопрос. В сотый, тысячный раз. Кто они? Кто разрешил? Кто дал указание? Кто исполнил? И сколько их было? И когда они это — совершили? И откуда эта лютая злоба, ненависть, хамство? Или наоборот — спокойный, хладнокровный расчет: сегодня — отсюда досюда; завтра — до того вот памятника, к 20-му чтоб было закончено... И бульдозеры. Скрежеща и урча, пробивают на месте главной аллеи куда-то дорогу... Людей нету. Пусто. Мертво... И страшно".

Это самый коренной вопрос сегодняшней русской жизни, и касается он не только осквернителей праха. Раздумывая о новейшей русской истории, отделяя себя от очевидных носителей зла, привычно противопоставляя себя начальству — "они думают..." — по разным конкретным поводам должен спросить себя русский интеллигент: "Кто они? Кто разрешил? Кто дал указание? Кто исполнил? И сколько их было?"

Впрочем, и еврейскому интеллигенту не худо спросить себя о том же. Вплетены были евреи в судьбы русской культуры вот уже целый век. Жили в ней как в родном доме, и любили ее как родимый дом, и портретов своих не писали; за спиной оставляя "хаос иудейский", назад редко оглядывались — безоглядно входя в русскую жизнь, одного хотели, чтоб она приняла их, как они ее принимали, растворила в себе до конца. А все-таки выпадали в осадок.



Фаина БААЗОВА

ИЗ ПРОШЛОГО

ПРОКАЖЕННЫЕ

Продолжение. Начало в № 4.

Начав с посещения дежурного прокурора, я медленно, но упорно пробиваюсь дальше — к прокурору отдела, начальнику следственного отдела, оттуда к начальнику судебного отдела, потом к одному из помощников заместителя Вышинского. Всюду я получаю один и тот же ответ: "После проверки установлено, что ваш брат жив, здоров, осужден на десять лет без права переписки и находится в дальних лагерях. Оснований для пересмотра дела нет".

Но все эти ответы подписаны должностными лицами, не правомочными на пересмотр дела. А дальше, попасть непосредственно на прием хотя бы к заместителю Генерального прокурора по спецделам, уже невозможно. Декабрь подходит к концу, и я застряла где-то на среднем уровне прокурорской иерархии.

Ничего сейчас не остается делать, как только снова подавать письменные жалобы. И я, возвращаясь к ве-

черу из этого опустошающего человека мира, сажусь и пишу жалобы во все мыслимые и немыслимые адреса. Меер молча следит за мной, высказывая иногда свои соображения. Далеко за полночь мы сидим на кухне, чтобы не будить Доцю и ее мать, и все еще стараемся предугадать будущее Герцеля и всей нашей семьи.

Где-то в третьем часу, просыпаясь, Доця начинает сердиться: "Идите спать. Меер, опоздаешь утром на работу". Меер в это время работал инженером-проектировщиком. Работа была трудная и ответственная, связанная с очень сложными расчетами.

В последние дни декабря, накануне Нового года, я выехала в Ленинград.

Обрадовавшись, что я вернулась к жизни, муж просил меня появиться в обществе его друзей, пойти вместе с ним и с его сестрой Ириной на встречу Нового года в ресторан "Астория". Его друзья там заблаговременно заказали места и для нас.

Я заставила себя на минуту подумать о муже и о его семье, где вот уже в течение восьми месяцев никто при мне не смеялся, где все подавляло гнетущее молчание, и я решила уступить их просьбе.

Я выбрала длинное вечернее платье, которое Герцелю особенно нравилось, одно из тех красивейших платьев, какие шила известная в то время в Тбилиси старая русская еврейка Шмулевич. Имея свой "круг избранниц", она создавала на каждой из них модель и никогда никому не шила второго такого же платья.

Одеваясь, я вспоминала, как немногим больше года назад мы с Герцелем и Софой смотрели какой-то новый спектакль в Малом Академическом театре в Москве. На мне тогда было это же платье. Во время антрактов Герцель любил брать меня и Софу под руку и разгуливать по фойе. Он обратил внимание, что многие, особенно

женщины, часто поглядывают на нас. И, засмеявшись, сказал: "Ага, я думал женщины смотрят на меня, а они, оказывается, рассматривают твоё платье".

В те годы в Москве красиво одетая женщина всегда привлекала внимание. Рабочая Москва, даже в театрах, даже в Большом Академическом или Художественном театре, ходила одетой по-рабочему. Часто можно было встретить людей в валенках и телогрейках. В противоположность Москве в Тбилиси старались одеваться красиво.

От природы женственные и грациозные, грузинки издавна одевались элегантно и с большим вкусом, что всегда отмечали люди, попадающие в Тбилиси из разных городов Союза и даже иностранцы.

Мы пришли в "Асторию" за 30 минут до наступления Нового года. Ресторан переполнен, много иностранцев. Роскошный зал залит светом. В отличие от Москвы, публика здесь разодета шикарно. За нашим столом сидят человек пятнадцать, все близкие друзья мужа с женами. Уже зараженный многими обычаями нашей семьи и желая отвлечь меня хоть на время от дум, муж уговаривает меня руководить столом, быть тамадой.

Стараюсь пить побольше шампанского, чтобы заставить замолчать, или задушить в себе второе "я", способное вдруг завопить на весь свет. Гляжу со стороны на публику: все веселятся, пьют, смеются, танцуют. Кажется, люди счастливы, беззаботны, и никого не омрачает тот другой мир. Наверное, со стороны и я выгляжу счастливой. А какое пламя бушует в моей душе! Быть может, здесь много таких, с двумя мирами в душе? Вот вдали, в другом конце зала, сидит группа грузин, видимо, застряли в командировке (без особой нужды грузин не станет встречать Новый год вне дома). Двоих я знаю с виду. У обоих родители репрессированы. Они узнают меня, все встают и оттуда с поднятыми бокала-

ми приветствуют меня. А через несколько минут, согласно их обычаю, присылают нашему столу "дзгвени" — подношение. Два официанта с трудом притащили огромные корзины, красиво оформленные и нагруженные шампанским, грузинским вином, разными фруктами и сладостями, по количеству сидящих за нашим столом лиц.

Веселье и шум все больше нарастают. Все громче и громче кричат: "С Новым годом!", "С новым счастьем!" А мой мозг сверлит один вопрос — что принесет нашей семье новый, 1939 год?

Было совсем светло, когда мы вернулись домой. Из своей комнаты я слышу, как довольная Ирина с радостью рассказывает матери, как веселилась Фани и покорила всех. Я сняла бальное платье и со злобой бросила его на пол, как тряпку, сама превратившись тоже в выжатую тряпку, опустошенная и ненавидящая себя. Я поймала себя на недобром чувстве зависти, когда муж аккуратно и заботливо вешал свой роскошный костюм — подарок моего отца к свадьбе. Он посмотрел на меня и понял, как дорого обходится мне подобное "веселье" и с этого дня больше не пытался развлекать меня.

х х х

В начале января по совету Василия Васильевича Струве я решила включиться понемногу в работу. Во-первых, я была обязана продолжить работу в этнографическом музее у Пульнера, вместе с которым мы должны были делать по ранее заключенному договору уголок "Грузинские евреи" в еврейском отделе музея, во-вторых, было необходимо работать, чтобы поддержать материально маму, сестру и маленьких племянников, а также

арестованных братьев. В то же время работать я могла лишь при таких условиях, чтобы в любую минуту иметь возможность выехать в Москву или Тбилиси.

Поэтому помимо этнографического музея, где я бывала по утрам, в вечерние часы я пошла работать в Публичную библиотеку имени Салтыкова-Щедрина, где в отделе литературы национальных республик искали работника для научно-технической обработки грузинских книг. Работа была сделанная, оплачивалась хорошо и в то же время я свободно располагала своим временем.

Невозможно забыть необычайно чуткое и теплое отношение, какое проявил Пульнер по отношению ко мне в те дни. Маленький, худой, с большими и лучистыми глазами, он был олицетворением доброты и человечности. Неустанный искатель и собиратель еврейской старины, Пульнер безмерно был влюблен в свое дело. С утра до позднего вечера трудился он в музее, изучая и разбирая экспонаты и делая экспозиции. Великолепной и красочной была его экспозиция "Пурим-шпиль". Сотрудники других национальных отделов музея шутя называли эту экспозицию "Пульнер — шпиль".

Незаметно для меня он постепенно втягивал меня в работу, и в течение каких-то двух месяцев наша экспозиция была уже готова. В последний раз этого замечательного человека и скромного труженика еврейской культуры я видела весной 1940 года. Впоследствии я узнала, что он погиб во время ленинградской блокады.

После работы в музее я отправлялась в Публичку, где зачастую засиживалась до 11 часов вечера. В отделе национальной литературы работал дружный коллектив способных и образованных молодых людей.

Особенно запомнились из раздела армянской литературы Степанов — человек большой культуры и очень эрудированный, из еврейской литературы Ильевич — молодой, худощавый, с черными горящими глазами и черными

курчавыми волосами, говорили, что он татский еврей (он великолепно знал как идиш, так и древнееврейский язык, работал с необыкновенным воодушевлением, писал монографии, исследования).

В огромном книгохранилище грузинские книги валялись неразобранные, без всякой системы. Когда я начала знакомиться с ними, я поразились богатству этой сокровищницы. Издания давно минувших дней, почти столетней давности, фольклорная литература, классика, книги без указания авторов, редкие журналы, о которых там, в Грузии, наше поколение не имело никакого представления. Не встречалась эта литература ни в школе, ни в университете, ни в обычных библиотеках, не говоря о книжных магазинах.

Работа меня сильно увлекала. Тем более что я неожиданно получила возможность бывать и в рукописном отделе, где я могла параллельно составлять очень важную картотеку по интересующим меня вопросам из истории грузинских евреев (но, увы, и эта картотека, как очень многое в нашем доме, была обречена на гибель). В эти месяцы я работала с девяти утра до одиннадцати вечера. Все мои трудовые заработки моментально превращались в вещевые и продуктовые посылки, которые я систематически отправляла в Тбилиси. В какой-то мере такая занятость и возможность постоянно поддерживать близких в Тбилиси облегчали мое существование в те дни.

В начале марта меня вызвал директор Публички и предложил мне постоянную должность заведующего отделом грузинской литературы. К его безмерному удивлению, я, не задумываясь, тут же отказалась. Положение в Ленинграде (да не только в Ленинграде) было такое, что любой кандидат филологических наук счел бы за честь подобное предложение. А я, не только не кандидат, но и не филолог, а в библиотечном деле вообще нови-

чок, отказалась наотрез. В этих условиях мой отказ мог заставить кого угодно усомниться в моей умственной полноценности.

Через несколько дней после моего разговора с директором, числа 14 или 15 марта утром, на работу ко мне в музей прибежал муж. Он был очень взволнован. Он принес мне телеграмму из Тбилиси. Оттуда сообщали, что дело отца и Хаима поступило в Верховный Суд Грузии и назначено на 23 марта. Вместе с телеграммой муж принес мне также билет в прямой спальный вагон, который в Москве прицеплялся к скорому тбилисскому поезду.

Пульнер и муж воодушевлены. Факт передачи дела отца в суд в свете "коренных переломов", как называли в те дни арест Ежова и перевод Л. П. Берия в Москву, они расценивали как обнадеживающий симптом. Они не сомневались в благоприятном исходе дела отца, что в свою очередь, по их мнению, даст мне больше шансов добиться пересмотра дела Герцеля.

С такими надеждами в тот же день муж проводил меня на поезд, уведомив предварительно по телефону Меера о моем выезде.

16 марта утром в Москве меня встречает Меер. Мой поезд отойдет через несколько часов, и мы предпочитаем остаться вдвоем на вокзале и свободно поговорить, чем ехать на Оболенский переулок.

В глазах у Меера тоже светится луч надежды. Он, конечно, не верит, что с падением "железного комиссара Ежова", который сейчас сам попал в "ежовые рукавицы", произойдет чудо и начнут освобождать невинно осужденных. Мы слишком хорошо знали "почерк" Берия и Сталина, чтобы верить Московским сказкам о том, что якобы Ежов, будучи врагом народа и вредителем, злоупотребил доверием Сталина и погубил много невинных людей. Но тем не менее Меер

радовался уже тому, что хоть немного приоткроется черный занавес, можно будет хоть издали увидеть наших близких и они смогут говорить на суде. И это уже нам казалось огромным счастьем, свалившимся на нас с неба. А в тайне каждый из нас, конечно, лелеял надежду, что в результате судебного рассмотрения дела их должны освободить.

С такими пробудившимися надеждами 16 марта 1939 года Меер проводил меня в Тбилиси.

х х х

Когда 20 марта я сошла с поезда, на перроне бушевал ледяной дождь, дул мартовский ветер, обычный для этого времени года в Тбилиси. Приехав домой, я застала у мамы Сарру с детьми, дядю Шломо, тетю Ривку и двоюродного брата. Все с большим волнением ждали моего приезда.

Расспрашиваю, что им известно, и хорошо уясняю себе все пережитое мамой с момента моего бегства-отъезда в июле 38 года. В течение восьми месяцев мама систематически простаивала в кошмарных очередях в приемной НКВД, получая неизменно один и тот же ответ: "Следствие продолжается". Никаких вещевых или продуктовых передач не разрешали. Принимали только по 75 рублей в месяц на каждого арестованного отдельно.

Мама брала за руку Полину, и с вечера до утра следующего дня простаивали они не в очередях, а в толпе обезумевших людей. Чекисты нарочно путали очереди, то разгоняя людей в разные стороны с руганью и оскорблениями ("собаки, подонки"), то вновь устанавливая их по своему усмотрению через несколько

часов. Как-то всегда получалось, что мама, простояв много часов и приближаясь почти к середине, к утру снова оказывалась в самом конце.

Порядок приема денег менялся едва ли не каждый месяц. По определенным дням, определенным буквам, по категориям дел, по городам и районам. И за этим то и дело меняющимся "графиком" следовало следить постоянно, ибо, если мама не попала точно в свой день, это значило, что до следующего месяца она лишалась права передачи денег и, стало быть, кто-нибудь из троих оставался без этих 75 рублей, на которые они могли в тюремном ларьке купить немного сахара, чая, хлеба, сухого печенья и, возможно, грамм 100-150 масла.

В один прием деньги принимали лишь на одного заключенного. Так что маме и Полине приходилось эти адские круги проходить по три раза в месяц. Но зато какое счастье они испытывали, когда им удавалось из форточки НКВД получить квитанцию в приеме 75 рублей. Тогда, вернувшись физически измотанными и морально опустошенными, они могли немного поесть, и еда в тот день не застревала в горле от сознания того, что сегодня они все-таки что-то сделали.

Увы! Впоследствии стало известно, что ни одной копейки из этих денег никому из заключенных так и не передали, а вся эта мучительная и издевательская процедура оказалась сплошным обманом.

Бедная мама! Как она изменилась, за несколько месяцев состарилась на 10 лет. А сестренка, запуганная, затравленная и вся загнанная в себя! А каким несчастным выглядит дядя Шломо. Несмотря на свою преданность и постоянную готовность услужить Софе, он не смог ее задобрить, и она еще долго угрожала ему арестом. До наступления зимних холодов он, оказывается, спал

где-то в городском саду на скамейке, боясь ночевать дома. Впрочем, ему было чего опасаться: ведь он втайне обучал нескольких учеников Танаху. Это было для него единственным способом прокормить свою многодетную семью. Он смертельно боялся, как бы об этом не узнала Софа, и, прекратив занятия с учениками, устроился работать швейцаром в оперном театре.

Из еврейских кругов мало кто посещал маму за эти месяцы. И лишь ближайший папин соратник еще по сионистскому подполью старик Я.Л. Зарецкий постоянно бывал у нее и по мере своих возможностей проявлял заботу и внимание.

Зато все чаще стали наведываться в наш дом грузинские друзья. В особенности мои университетские подруги и товарищи, состоящие в коллегии адвокатов. Именно они первыми узнали и сообщили маме о поступлении дела отца и Хаима в Верховный Суд Грузии.

Когда стемнело, я поехала домой к адвокату А. Чичинадзе. Туда кроме Д. Канделаки — будущего защитника Хаима, — узнав о моем приезде, пришли также ближайшие мои друзья — адвокаты.

Чичинадзе и Канделаки и в мыслях не допускали скрыть от меня данные дела, несмотря на строжайший запрет и риск, которому они подвергали себя за "разглашение секретных материалов". Составлять "досье" и брать его с собой адвокат не имел права. Записи, которые он мог делать во время ознакомления с делом, оставались в суде.

Дело было групповое. По нему привлекались: Давид Баазов, д-р Рамендик, бывший директор 103 школы математик Пайкин, д-р Гольдберг, бывший уполномоченный Внешторга СССР по Закавказью Р. Элигулашвили, младший научный работник историко-этнографического музея евреев Грузии — Г. Чачашвили, Хаим Баазов.

Всем было предъявлено обвинение, предусмотренное статьями 58-10-11 Уголовного кодекса Грузии.

Обвинительное заключение, по словам моих друзей-адвокатов, было очень объемное. Оно содержало огромное количество эпизодов обвинения, которые сводились к следующим основным пунктам:

Давид Баазов начиная с 1904 года был активным сионистом и тесно связан с руководителями мирового сионизма. Он неоднократно участвовал во всемирных сионистских конгрессах и конференциях русских и закавказских сионистов. Еще до революции он создал в Грузии сионистскую организацию, куда завербовал многих классово-неустойчивых элементов из числа грузинских и русских евреев.

В своих публичных выступлениях он проповедовал расистскую теорию еврейской национальной обособленности, отвлекая массы еврейских трудящихся от революционной борьбы.

Он учреждал религиозные школы, где еврейских детей обучали религии, древнееврейскому языку и истории.

После установления Советской власти в Грузии он не только не прекратил свою антинародную преступную деятельность, но вместе со своим старшим сыном Г. Баазовым, ныне разоблаченным и осужденным, вел активную националистическую агитацию и публично требовал от Советской власти предоставления грузинским евреям "культурной автономии".

В 1925 году ввел в заблуждение правительство, которое ему разрешило поехать в Палестину, якобы для выяснения вопроса получения земель для нуждающихся грузинских евреев.

В Палестине, возобновив свои преступные связи с руководителями мирового сионизма, с их помощью добился получения сотен сертификатов.

Обманув правительство, ему удалось частично реализовать полученные сертификаты, и в том же году он организовал эмиграцию в Палестину десятков семей грузинских евреев.

Но дальнейшая его преступная деятельность в этом направлении была пресечена благодаря бдительности органов Г. Б.

Продолжая свою подпольную, к/революционную деятельность, вместе со своим сыном Г. Баазовым вступил в преступную связь с представителем сионистской организации в Москве "Арго-Джойнт" И. Розиним, которому передавал шпионские сведения.

Был активным членом центрального комитета Московской подпольной антисоветской сионистской организации вплоть до

ликвидации этого преступного очага и ареста его членов, врагов народа: Кугеля, Каминского, Бернштейна и других.

Вел среди евреев агитацию против Советской власти и вербовал в подпольную антисоветскую организацию молодежь из числа русских и грузинских евреев.

Так он завербовал обвиняемых по данному делу Р. Элигулашвили и Г. Чачашвили.

Рамендик, Гольдберг и Пайкин обвинялись в том, что, будучи настроены враждебно к Советской власти, вступили в подпольную организацию, возглавляемую Д. Баазовым, и вели антисоветскую пропаганду, направленную против советской национальной политики.

Р. Элигулашвили и Г. Чачашвили — в том, что они были завербованы Д. Баазовым в сионистскую подпольную организацию и занимались антисоветской агитацией, направленной против национальной политики Советской власти.

Х. Баазов — в том, что, будучи сыном и братом врагов народа и агентов империалистических стран, еще в начале двадцатых годов вступил в основанную его братом Г. Баазовым подпольную антисоветскую организацию молодых сионистов — "Цейре Цион".

По делу не вызывался ни один свидетель. К делу не были приобщены никакие вещественные доказательства. Не было ни одного документа, хоть косвенно, в какой-то мере подтверждающего это обвинение.

Тома следственного материала состояли из бесчисленных протоколов допроса обвиняемых, в основном Д. Баазова, который по каждому эпизоду обвинения был допрошен по 10-15 раз. Эти протоколы начинались неизменным предложением рассказать подробно о "своей фашистской и контрреволюционной деятельности". В деле было огромное количество протоколов очных ставок между ним и остальными обвиняемыми. Все эти материалы отражали старание следствия выяснить, когда и где были между ними встречи и в каких выражениях велась между ними "антисоветская беседа" по "еврейскому вопросу".

К делу были приобщены также напечатанные на машинке и без подписи множество "показаний" Герцеля. В них Герцель "изобличал" своего отца в его сионистской деятельности.

Дело подлежало рассмотрению в спецколлегии по уголовным делам Верховного Суда Грузии. Председательствующим был назначен член Верховного Суда Убилава, который в Верховном Суде появился всего несколько месяцев назад. Я его не знала.

За год моего отсутствия в составе Верховного Суда, как и в адвокатуре, произошли большие изменения. При мне здесь в основном преобладали люди из плеяды старых революционеров и выдвигенцы из рабочих. Вынося приговоры и решения, они были обязаны руководствоваться "классовыми интересами" и "революционным правосознанием". Разумеется, этот расплывчатый критерий не мог служить гарантией законности. Но среди них были люди порядочные и честные, жизненный опыт и чистая совесть которых нередко отличали их приговоры печатью человеческой справедливости.

Среди них почти не было людей с высшим юридическим образованием. Это произошло не потому, что в Грузии отсутствовали дипломированные юристы. В период организации Верховного Суда и народных судов в Грузии была большая армия юристов, получивших образование в Петербурге, Одессе, в Париже и Берлине. Но все они были либо беспартийными, либо людьми в прошлом из других политических лагерей. Многие из них до советизации Грузии занимали должности сенаторов, окружных прокуроров или различные высокие посты (Шалва Месхивили — министр юстиции, Гиоргадзе — военный министр и т.д.). В силу своего социального происхождения или политического прошлого они, естественно, не могли занимать судебские или прокурорские посты. Большинство из них ушло в адвокатуру, некоторые стали

преподавателями на юридическом факультете университета, а часть устроилась юрисконсультантами в разных учреждениях и организациях.

Выпускники университета советского периода, конца 20-х или начала 30-х годов, тоже в основном вышли из старых интеллигентных семей, были воспитаны старой профессурой, и прежде всего нашим любимым профессором Луарсабом Андронниковым. И конечно, они также были в числе незаслуживающих доверия. Большинство из них ушло в адвокатуру, некоторые в искусство, литературу или театр, а маленькая часть, у которой оказалось "правильное политическое чутье", вступила в партию и начала понемногу просачиваться в судебные и следственные органы.

Именно тогда из-за недоверия к юридическому факультету университета при Наркомате Юстиции были организованы двухгодичные юридические курсы. Сюда направлялись комсомольцы и члены партии, и в основном преподавателями здесь были уже партийцы, окончившие в Москве Институт красной профессуры. Дипломники этого "храма знаний", начиненные марксизмом-ленинизмом и наспех выучившись практическому применению статей УК* и УПК**, стали основным источником омоложения и оздоровления судебно-следственных органов.

После ареста в 37-38 годах многих членов Верховного Суда — старых рабочих и революционеров вместе с председателем Верховного Суда Ваню Болквадзе и его преемником Исакадзе — уцелевших старых членов суда заменили новыми партийными кадрами.

Председательствующий по делу отца и других Убилава был одним из таких "дипломников". Зато выступающий обвинителем прокурор Г. Шецирули был одним из способных и одаренных выпускников университета начала тридцатых годов.

Начиная с 1936 года уже не все адвокаты, состоящие членами коллегии адвокатов, допускались для участия

* УК — имеется в виду уголовный кодекс ГрузССР.

** УПК — уголовно-процессуальный кодекс.

в Спецделах. Президиум коллегии адвокатов получал из спецотдела НКВД список допущенных к политическим делам (этот список постоянно менялся в зависимости от ситуации). В основном он состоял из членов партии, но для приличия туда включали несколько знающих и авторитетных беспартийных адвокатов, имеющих "чистые анкеты" и считающихся лояльными.

Адвокаты А. Чичинадзе и Д. Канделаки и были в числе последних.

Алексей Чичинадзе был выпускником университета конца 20-х годов. Умный, деловой и довольно смелый. Он был родом из Они и очень близок к нашей семье.

Дмитрий Канделаки представлял более старшее поколение. Он считался хорошим практиком и также отличался смелостью.

Из этого же списка были и остальные адвокаты, получившие ордера на защиту других обвиняемых.

Защитник бывшего уполномоченного Внешторга по Закавказью Р. Элигулашвили адвокат Б. И. Амирагов был старым, дореволюционным адвокатом. Он считался одним из сильнейших защитников в союзном масштабе. Человек одаренный, на редкость образованный, он пользовался большим авторитетом. Как рассказывали пожилые адвокаты, в 1910 году, будучи студентом юридического факультета Московского университета, он произнес речь от имени московского студенчества на похоронах Л. Н. Толстого. Но был он невероятно труслив и даже много лет спустя, уже в "нормальное" время, уверял, что "наше поколение никогда не избавится от страха".

Назначенный судом в качестве "казенного" защитника обвиняемых Пайкина и Гольдберга бывший член Верховного Суда и ставший совсем недавно адвокатом, старик Робидон Каландадзе представлял собой очень своеобразную и колоритную фигуру.

Член партии с 1902 года, он имел звание Героя социалистического труда и был награжден многими орденами. До советизации Грузии работал проводником

на железной дороге. С ранней молодости стал революционером и, как утверждали, имел большие заслуги перед партией в деле организации стачек в железнодорожных мастерских Закавказья. Человек без всякого образования и малокультурный, он в то же время обладал крепким мужицким умом и смекалкой. Одним из первых рабочих-выдвиженцев попал в члены Верховного Суда Грузии, и, рьяно руководствуясь при рассмотрении уголовных дел "классовыми интересами и революционным правосознанием", он из бывшего железнодорожного проводника превратился в образцового проводника революционной законности. По природе злой и завистливый, он люто ненавидел интеллигентных адвокатов, особенно с княжескими фамилиями. Р. Каландадзе прославился своей свирепостью и беспощадностью сразу после выхода закона от 7 августа 1932 года, когда он широко и щедро применял против "врагов народа", присвоивших государственное или общественное имущество, — расстрел. В 1934 г. весь город содрогнулся, когда он расстрелял одного несчастного почтальона Мачарашвили, отца троих малолетних детей, за "недостачу" 3000 рублей. Чтобы иметь представление о "крупном размере" суммы (необходимый признак для квалификации деяния по "закону от 7 августа"), присвоенной Мачарашвили, следует отметить, что тогда на эти деньги в Тбилиси можно было купить два недорогих мужских костюма.

Когда на квартиру к этому почтальону пришел судебный исполнитель для описи подлежащего конфискации имущества, то он нашел там такую жалкую утварь, что пришлось составить акт о несостоятельности семьи осужденного. А когда осужденный Мачарашвили вышел из камеры на расстрел, он попросил тюремщиков возвратить его жене тюфяк, взятый им из дому (тогда еще разрешали арестованным брать с собой постель), так как дети спали на полу.

Дела подобной категории рассматривались для "воспитания масс" на специально организуемых публичных показательных процессах в больших клубах, театрах и прочих общественных местах.

В таких случаях обвинение в приговоре всегда признавалось полностью доказанным, невзирая на то, что судебным следствием оно часто в корне опровергалось. Таково было "объективное и беспристрастное правосудие" в Тбилиси, еще за несколько лет до начала эпохи нарушения законности. А теперь Р.Каландадзе, этот "оплот правосудия" в прошлом, был направлен в адвокатуру и одним из первых возглавил список допущенных к политическим делам адвокатов.

Если еще до 1937 года старая адвокатура защищала интересы подсудимых и все же часто добивалась успехов, то после ликвидации лучших старых и молодых адвокатов институт защиты по политическим делам, по существу, превратился в фикцию. Партийные адвокаты, как правило, не оспаривали обвинения, даже при отсутствии в деле каких-либо, минимальных доказательств виновности подсудимого и даже при отрицании последним своей вины. Вся деятельность таких адвокатов обычно сводилась к тому, что, полностью соглашаясь с прокурором и считая обвинение доказанным, они просили суд проявить высокую гуманность и несколько смягчить приговор ввиду "молодости" или "первой судимости" (смотря по обстоятельствам дела) подсудимого.

Вообще число политических дел, рассматриваемых в этот период Верховным Судом Грузии, должно быть, составляло ничтожный процент из той массы дел, по которым подавляющее большинство было расстреляно или сослано без права переписки решениями "тройки". Часть арестованных была осуждена приговорами Военного трибунала Закавказского Военного Округа. Некоторые, не выдержав пыток, умерли во время следствия или покончили с собой, а особенно непокорные, неподдающиеся и сопротивляющиеся были застрелены прямо в кабинете следователя.

Лишь недавно, в конце 1938 года, после упразднения "троек" и в особенности после перевода Берия в Москву на место Ежова, в спецколлегию Верховного Суда Грузии стало поступать больше политических дел, в основном по статьям 58-10, 58-11 — статьи, всегда очень популярные, а дела по другим пунктам статьи 58 — об измене, терроре, диверсии и подобных тяжких преступлениях по-старому поступали в Военные трибуналы.

Хотя аресты еще продолжались, но они уже не были массовыми и не носили характера цепной реакции.

Утверждали, что наступил перелом. Все бедствия сваливали, конечно, на врага народа Ежова, проклинали и поносили его. Зато доходили до исступления, восхваляя Берия, назначение которого в МГБ СССР ознаменовалось в Грузии возвращением двух известных академиков.

Случаи эти, с одной стороны, создавали еще более яркий ореол величия и справедливости соратнику Великого вождя и с другой — давали основание официально утверждать, что "разбираются, без вины не осуждают".

Я не знаю — посвящали или нет в свое время русские поэты стихи, воспевающие Ежова или Абакумова, славали ли в их честь песни композиторы. Но если собрать вместе возносящие до небес только песни и стихотворения, созданные в Грузии в честь Берия, наверное, получится весьма объемный том.

Адвокаты Алексей Чичинадзе и Дмитрий Канделаки были также склонны считать, что наступил конец "всеобщего потопа". Они верили, что циркулирующие по городу слухи о том, что из Москвы поступили секретные директивы освобождать людей, — не фантазия отчаявшихся, а имеют под собой реальные основания. Настроены они были весьма оптимистически и полагали, что, раз отцу и Хаиму посчастливилось и дело их дошло до суда, можно не сомневаться в благоприятном исходе.

Адвокатам было разрешено свидание с их подзащитными 22 марта.

В этот день утром я пошла в Верховный Суд навести "официальную справку" о положении дела.

x x x
x

Здание, в котором помещается Верховный Суд, представляло собой единственное в своем роде в Тбилиси и очень замысловатое строение. Оно было построено в царское время специально для тифлисского окружного суда. Огромный шестиэтажный дом, состоящий из двух корпусов, соединенных между собой внутренними широкими лестницами. Почти на всех этажах — большие и малые залы судебного заседания. В них еще сохранились специально изготовленные, стоящие на возвышении, как на сцене, дубовые столы и высокие стулья для состава суда, специальные скамьи подсудимых и длинные ряды стульев для публики.

В этом здании были сосредоточены все Высшие Органы правосудия, прокуратура Республики, народный комиссариат юстиции, Военный трибунал и прокуратура, президиум коллегии адвокатов и ряд других ведомств юстиции.

Поднимаясь по лестнице, я вижу, как из приемной "спецотдела" тянется длинная очередь, которая, спускаясь вдоль перил широких лестниц и заворачивая через площадку первого этажа, выходит наружу и, образуя несколько кругов, почти заполняет огромный внутренний двор. Здесь стоят люди, наводящие справки еще об "исчезнувших" в 1937-1938 годах. И теперь так же, как прежде, они все получают один ответ: "Осужден на 10 лет и сослан без права переписки".

На пятом этаже, где помещается Верховный Суд и Коллегия адвокатов, мои друзья встречают меня радостно, утешают и убеждают, что, слава Богу, наступила пе-

ремена и суд непременно оправдает как отца, так и Хаима. Зато косо смотрят на меня новые адвокаты, бывшие члены Верховного Суда или бывшие прокуроры. Хоть и обиженные, выгнанные, но, как члены партии, они должны относиться с презрением к врагам народа.

Некоторые из уцелевших старых работников суда и прокуратуры, боясь поздороваться или заговорить со мною, улыбаются мне глазами. Но таких мало.

В коридоре среди множества людей встречаю родственников подсудимых, проходящих по нашему делу. К моему удивлению, в разговоре со мною они проявляют недоверие и настороженность. Впоследствии выяснилось, что Софа пыталась убедить их в том, что ей из секретных источников достоверно известно, что "старый провокатор" Давид Баазов, с целью спасения собственной шкуры, погубил всех, в том числе и собственных сыновей, за что ему было обещано освобождение.

Уговаривая их объединиться и бороться против старика "единым фронтом", она обещала им свою помощь и взяла на себя организацию защиты.

Правда, члены семей подсудимых слишком хорошо знали отца, чтобы поверить в подобную дьявольскую клевету, да и сам факт ареста Герцеля намного раньше отца делал совершенно бессмысленным утверждение Софы. Но в те дни всеобщего безумия и потери всяких критериев разума нетрудно было отравить сознание людей и убедить их в самом невероятном.

Вскоре приглашенные ими же адвокаты — Амирагов, Дидебулидзе и другие — объяснили им истинное положение вещей.

С моим появлением в Тбилиси Софа сразу исчезла с нашего горизонта.

Вечером спешу к Алексею Чичинадзе домой. Туда же придет и Дмитрий Канделаки. С замиранием сердца жду — что они скажут? Как выглядит отец? В каком он состоянии? Как держит себя Хаим?

Алексей, как обычно, выглядит спокойным, собран-

ным, но я сразу почувствовала, что за внешним безразличием он умело скрывает внутреннее волнение и напряженность.

Задаю ему десятки вопросов: о пытках, о допросах, о состоянии здоровья, что сказал, как сказал. Хочу через него воспринять каждый вздох, каждый взгляд, каждую мысль и слово отца.

— Нет, нет, — уверяет Алексей, — страшных пыток к нему не применяли, но он очень подавлен, к тому же нездоров.

Перехватываю взгляд его жены Маро (она из числа близких друзей и душой болеет за нашу семью). Своим взглядом она хочет удержать мужа от чего-то.

Но разве Алексей мог сказать мне, как пытали отца? (Подробно об этом я узнала спустя годы.)

А разве сами обвиняемые были вправе говорить кому бы то ни было о перенесенных ими пытках?

Методы следствия считались государственной тайной, рассказы о них могли повлечь за собой новое грозное обвинение — в разглашении государственной тайны.

И все же в Тбилиси, где какими-то неведомыми каналами народ всегда раньше, чем в других городах Союза, включая и Москву, узнавал о происходящем "там", знали о тех изуверских пытках — о переломах костей, об удушении женщин их собственными косами, о тушении горящих папирос на теле обвиняемого, о сдирании ногтей и подобных зверствах, достигших во второй половине 1938 года своего апогея.

— Хуже всего то, — говорит Алексей, — что мне не удалось убедить Давида в том, что ты на свободе и находишься здесь. Он не захотел обсудить со мною эпизоды обвинения и все время просил сказать ему только правду, где "заточена Фани".

Алексей дал мне строгий наказ — завтра, с раннего утра, находиться в Верховном Суде, постараться, пока заключенных введут в зал и закроют за ними дверь, сделать так, чтобы отец не только узнал меня, но, если удастся, заговорить с ним.

Зато Дмитрий Канделаки был больше доволен своим подзащитным. По его словам, Хаим выглядит бодрым, собирается дать бой следователю Овеляну. За себя он не беспокоится и просил его вместе с Алексеем перенести центр тяжести защиты на дело отца.

Утро 23 марта 1939 года. В Тбилиси было пасмурно, и, как часто бывает там в это время, дул холодный ветер. Еще не было 9 часов, когда я подошла к главному входу, а людей на улице, во дворе, очень много.

Ровно в 9 часов открывается вход, и люди, хлынувшие в широкие парадные двери, разбежались по всем этажам.

На улице среди публики я заметила много евреев, но все избегают меня. Среди них мелькают и лица довольно близких к нашей семье, они стараются затеряться среди толпы.

На широкой площадке, перед большим залом на 5 этаже, постепенно собираются родственники и близкие подсудимых по нашему делу. Но их очень мало. Пришли самые близкие — жены, братья, родители. Среди них мама с Полиной. С ними пришел только один двоюродный брат. Возле них стоит Сарра с маленькой Лилей, а второго ребенка — 10-месячную Эру — держит на руках.

У всех на лице застыло выражение тревожного ожидания. Все молчат. Боятся разговаривать, чтобы не выгнали отсюда, где они смогут увидеть впервые за восемь месяцев своих близких, которые придут из "того" таинственного и жуткого мира. Это кажется чудом.

В адвокатской комнате собираются мои друзья. Пришли жены товарищей, мужа подруг. Заходят даже некоторые работники, члены партии, стараются подбодрить меня.

Вдруг кто-то крикнул в нашу комнату: "Ведут". Раздается команда начальника конвоя: "Очистить площадку перед входом в зал". Всех сгоняют в широкие коридоры с правой и левой стороны площадки. Люди боятся

конвоя — он всегда состоит из русских солдат, они могут выстрелить за малейшее нарушение их приказов. (По политическим делам конвоировать заключенных, кроме русских, никому не доверяют.).

Площадка пуста. Пользуясь своей адвокатской книжкой, выхожу на середину площадки (адвокаты так же, как прокуроры или работники суда, имели право ходить свободно по помещению в момент привода и увода заключенных). Туда же выходят и становятся по сторонам многие адвокаты, работники суда, секретарши.

Первым по пустой и широкой лестнице ведут отца. Ему трудно подниматься. Его поддерживают конвоиры с обеих сторон. С середины лестницы он заметил меня. На его мертвенно-бледном лице загорелись глаза. Медленно двигаясь по направлению к залу, он не отрывает от меня глаз, как будто перед ним видение...

Мне кажется, кричу: "Папа!" ... но не слышно ни звука...

Куда пропал голос? Отца уже ввели в зал.

Ко мне подходит Алексей и сердито, сквозь зубы процедил: "Что ты вдруг онемела?"

Как мне объяснить ему, почему я онемела? Могу ли я выразить, что происходило со мною, когда отец уставился на меня?

Вторым ведут Рамендика. Он тоже слаб, еле передвигает ноги. За ним следует Пайкин, затем Гольдберг. Из публики выкрикивают их имена. Они стараются разглядеть родных.

Бодро поднимается Рафо Элигулашвили. Он оглядывается по сторонам, отвечает на возгласы родственников.

Последним ведут Хаима. Он почти бежит по лестнице. Но тут все смешалось: адвокаты начали громко кричать: "Хаим! Хаим! Держать крепко!" Неожиданно откуда-то из публики вырывается неугомонная пятилетняя Лиля — дочь Хаима и с радостным возгласом "па-

па!" бежит к нему. Ее тут же хватает за золотистые кудри один из конвоиров и грубо швыряет в толпу женщин.

Уже ввели всех в зал. За ними глухо закрывают широкие дубовые двери... И хотя двери изнутри запираются на замок, снаружи, у входа, становятся вооруженные солдаты.

Толпа из коридора вывалила на площадку. Слышны приглушенные рыдания, радостные восклицания. Кто-то приказывает "не шуметь", и все замолкают.

Снова воцарилась тишина и тревожное ожидание.

Прошел уже час. Адвокатов, участников процесса, не допускают к подсудимым.

Прокурор Шецирули дважды поднимается с 4 этажа и снова уходит.

Чувствуется какая-то нервозность. Старший секретарь Верховного Суда часто заходит в зал через боковые двери. Время проходит... Уже около часа дня, но не видно и признаков начала процесса. Никто не знает, что происходит внутри зала.

Стою у окна на площадке и негромко разговариваю с адвокатами. Вдруг вижу, как по лестнице в сопровождении двух неизвестных мне лиц поднимается известный врач, профессор Николай Григорьевич Кипшидзе, с которым я была хорошо знакома. Проходя мимо, он делает вид, что не узнает меня. Его вводят прямо в зал, где сидят заключенные.

Наконец председательствующий Убилава вызывает к себе адвокатов и сообщает им, что ввиду болезни подсудимых Д. Баазова и Рамендика он вызвал врача и в зависимости от его заключения будет решен вопрос о возможности слушания дела.

Вдруг все мои волнения куда-то исчезли, осталось лишь волнение за здоровье отца. Он давно страдал болезнью сердца, и это в течение вот уже 10 лет было предметом большой тревоги и постоянной заботы в нашей семье.

Неужели состояние отца настолько тяжелое, что суд пригласил крупнейшего в республике кардиолога?!

Но профессор Кипшидзе не просто крупный специалист, он является правительственным врачом. Говорят, он пользуется большим доверием "отца народов", который часто вызывает его к себе. Он избирался депутатом Верховного Совета Грузии.

Смешно подумать, что приглашение специалиста такого ранга вызвано озабоченностью Убилавы состоянием отца или Рамендика. Таких, как он, не тронет даже, если подсудимый умрет во время процесса. Ему нужна для приобщения к делу лишь бумажка — заключение врача о возможности допроса подсудимого.

Но для этого обычно в суд вызывается врач из любой поликлиники или, в особых случаях, из бюро экспертизы. Начинает казаться, что появление профессора Кипшидзе является первым мрачным симптомом тяжелой болезни отца, и меня вдруг пронзила страшная мысль.

Несмотря на то, что и у отца, и у Рамендика была высокая температура и они еле держались на ногах, высокий эксперт дал заключение, что по состоянию здоровья подсудимых допросить можно.

Адвокатов пригласили в зал, и председательствующий объявил постановление о слушании дела.

После оглашения анкетных данных в протоколе, председательствующий приступил к чтению обвинительного заключения, которое длилось до 7 вечера.

Никто из подсудимых виновным в предъявленном ему обвинении не признался.

На этом заседание суда 23 марта было прервано.

Когда на другой день утром перед зданием Верховного Суда остановился "черный ворон" и подсудимые стали выходить оттуда, всем нам, находящимся на улице, показалось, что отец со вчерашнего дня "переродился", он выглядел спокойным и бодрым. Он знает, что сегодня начнется его допрос.

Ровно в 10 часов за подсудимыми наглухо закрывается дверь большого зала. Я избегаю общения с родственниками подсудимых и ухожу в адвокатскую комнату. Они, конечно, догадываются, что мне известны материалы дела и ход судебного следствия и, естественно, хотят узнать побольше подробностей. А я боюсь подвести Алексея и Дмитрия — они могут серьезно пострадать за разглашение секретных материалов дела. Тем более что по коридорам рыщет много осведомителей с обостренным слухом и зрением и им наверняка известно, что я после окончания судебных заседаний вечера просиживаю в доме Алексея.

Отца допрашивали в течение 3-х дней. В первый день перед началом допроса председательствующий предложил отцу "правдиво и подробно рассказать суду о всей его преступной сионистской деятельности".

...И отец начал рассказывать. Он начал с описания того гнета и бесправия, в котором находились евреи в России и в Грузии в начале двадцатого столетия. Следуя за ходом времени, он рисует потрясающие картины беспощадной расправы погромщиков над евреями в разных концах Российской Империи с начала столетия до установления Советской власти.

Признает, что еще в ранней юности, потрясенный трагической судьбой своего народа, преследуемого всюду в течение тысячелетий, он стал в ряды тех, кто боролся против физического и духовного уничтожения еврейского народа.

Не отрицает, что, получив духовное образование в еврейских училищах в Вильно и Слуцке, сблизился и сдружился со многими впоследствии выдающимися борцами против национального гнета в царской России. Но ведь за то же самое боролись и лучшие большевики, и евреи, и русские, и грузины...!!

Да, признает, что до 1920 года неоднократно принимал участие во всемирных, российских или закавказских еврейских конгрессах и конференциях. Но все это проис-

ходило в интересах спасения все еще преследуемого, хотя уже пережившего катастрофические погромы русского и польского еврейства, с целью спасения еврейской религии, его культуры, его национальной самобытности от всех злобных антисемитов.

И разве все то, за что я боролся и о чем мечтал — спасение евреев от физического уничтожения, предоставление им свободы и права на национальное самоопределение — не провозгласила Советская власть? Разве не она впервые предоставила всем униженным большим и малым народам бывшей Российской Империи свободу и право на возрождение своей национальной культуры?

— Получается, что мы должны дать вам сдачи? — цинично заметил председательствующий...

— Или извиниться перед вами и отпустить вас домой?— злобно бросает прокурор.

День кончается. Почти без перерыва отец, больной и голодный, стоя, давал показания в течение всего заседания. Обессиленный, он садится.

Объявляется перерыв до следующего утра.

На следующее утро перед началом заседания в коридорах Верховного Суда появились работники органов. Один за другим заходят они в кабинет председательствующего. Вот мне указывают на следователя Овеяна. Типичный чекист с мутными глазами. Он пристально смотрит на меня.

Когда началось заседание, они вошли в зал. Овеян садится в первом ряду (и тогда, и после следователи часто присутствовали в зале во время допроса их подсудимых, — это для психологического воздействия).

Второй день допроса отца начинается грубой репликой прокурора:

— Сионистская деятельность в прошлом агента международной буржуазии и врага пролетариата подсудимого Баазова доказана со всей очевидностью. Теперь пусть он расскажет суду о своей контрреволюционной деятельности после установления Советской власти в Грузии.

И, повышая голос, сразу задает множество вопросов:

— Проповедовали в народе реакционные идеи еврейского национализма?

— Под видом религиозного служения вели пропаганду против Советской власти?

— Вербовали в подпольную сионистскую организацию враждебные Советской власти элементы?

— Распространяли еврейскую литературу? Обучали еврейскому языку нелегально?

— Имели преступную связь с ныне разоблаченными врагами народа с московскими сионистами?

Вопросы, вопросы, вопросы...

Прокурор все больше повышает голос. Доходит почти до иступления.

— И вы не признаете себя виновным в предъявленном обвинении?

— Нет! — твердо заявляет подсудимый Д. Баазов и спокойно продолжает: — Кричать — не значит доказать обвинение. Ваши вопросы — формулы обвинения. Обвинение надо доказать. У вас нет доказательств моих преступлений, потому, что я их не совершил.

— Чем вы можете опровергнуть обвинение? — не унимается прокурор.

— А чем вы подтверждаете предъявленное мне обвинение? — спрашивает в свою очередь подсудимый Баазов.

— Вы не имеете права задавать вопросы прокурору, — вмешивается председательствующий. — Отвечайте на вопросы прокурора суду.

И подсудимый Баазов продолжает давать показания... Он подробно обрисовывает положение грузинского еврейства в момент установления Советской власти в Грузии. Как, застывшее веками в темноте и нищете, вдруг оно оказалось за бортом жизни, все попали в "черные списки", так как подавляющая их масса в прошлом занималась мелким "коробейничеством" или торговлей "воздухом".

Дети по всем районам поголовно оставались вне школ. Родители влачили жалкое существование. Прави-

тельство проявляло большую заботу о нацменьшинствах. Оно предоставило широкую автономию осетинам, абхазцам, аджарцам, живущим на определенной территории. Но положение грузинских евреев оказалось плачевным, так как они были разбросаны мелкими общинами по всей республике.

— Я обратился к правительству с просьбой учредить еврейские школы, где наряду с другими предметами преподавали бы и еврейский язык, об открытии также других культурных учреждений, подобных тем, которые широко развивались у всех национальных меньшинств. Просил выделить землю для приобщения евреев к земледелию и принять срочные меры для трудоустройства находящихся без всяких средств существования большого количества людей без определенной профессии...

И далее:

... Вся деятельность передовой еврейской интеллигенции в двадцатых годах была направлена на улучшение тяжелого экономического положения грузинского еврейства и его национально-культурного возрождения. Все наши действия носили законный характер. Правительство помогало и заботилось о нас. Мамия Орахелашвили, отозвавшись на мое обращение, публично в газете "Коммунисты" в 1923 году, считал, что следует в еврейские школы ввести идиш для обучения русских евреев и древнееврейский язык для грузинских евреев.

— Мамия Орахелашвили оказался врагом народа, агентом мирового империализма, — кричит прокурор.

— Но тогда он был председателем правительства, — отвечает подсудимый.

— Руководство народного комиссариата просвещения помогло нам учредить ряд культурно-просветительных учреждений.

— Канделаки разоблачен как враг народа! — опять грубо прерывает подсудимого прокурор.

— Но тогда он был народным комиссаром просвещения, — говорит подсудимый. — Все мои действия в те годы были согласованы с правительством и соответствовали советским законам. Обвинение голословно. Дайте же какие-либо доказательства моей антисоветской преступной деятельности...

— В результате вашей агитации и подстрекательства в 1925 году большая группа грузинских евреев эмигрировала в Палестину, — начинает атаковать подсудимого председательствующий.

— Эмиграция грузинских евреев в Палестину имеет давнишнюю историю. Еще с начала 18-го столетия религиозные евреи часто уезжали на Святую землю. В 1925 году группа религиозных евреев уехала с согласия и разрешения правительства.

— Но эмиграцию организовали и возглавили вы? — продолжает наступать Убилава.

— Я был официально делегирован грузинским правительством в Палестину с целью изыскания там возможности получения земли для находящейся в крайней нищете части религиозных грузинских евреев.

— Назовите фамилии сионистов, с которыми вы находились в преступной связи и по чьим заданиям вы организовали эмиграцию грузинских евреев.

— Я получил сертификаты официально, как представитель Советской Грузии, от тогдашнего правителя Палестины, генерал-губернатора Герберта Семюзля.

— Но почему вы их не отговорили, почему не постарались землеустроить их здесь? — продолжает изобличать его председательствующий.

— Мы старались, просили землю. Но тогда не было свободной земли. На мои требования Саша Гегечкари шутя ответил мне, что, "если высохнет Черное море, тогда можно будет выделить евреям землю".

— Саша Гегечкари посмертно разоблачен как враг народа! — злобно замечает прокурор.

— Но тогда он ведь был народным комиссаром земледелия! — напоминает прокурору подсудимый.

— Сегодня это не имеет значения. Сами по себе ваши действия являются антисоветскими! — кричит прокурор и, вскакивая, говорит суду: — Я обращаю внимание Высокого суда на то, как выкручивается припертый к стене подсудимый Давид Баазов. Для оправдания своей преступной деятельности он ссылается на врагов народа. Неудивительно, что враг с помощью врагов ввел в заблуждение грузинское правительство и добился организации эмиграции грузинских евреев в Палестину.

— Неверно! — перекикивает прокурора подсудимый Баазов, и похоже, что его никто и ничто уже не остановит.

— Я заявляю, что вся моя деятельность в те годы, то, что вы считаете преступлением против Советской власти, осуществлялось не с помощью врагов народа, а в соответствии с решениями Правительственной комиссии, возглавляемой Серго Орджоникидзе. Эта комиссия была составлена в начале 20-х годов Высшими советскими партийными органами специально для разрешения тяжелых экономических и культурных проблем грузинских евреев. В эту комиссию помимо Серго Орджоникидзе входили также и Ваню Стуруа и Миха Цхакая. Ввели и меня. Все культурно-экономические мероприятия, проводимые тогда среди грузинских евреев, — открытие еврейских школ, преподавание еврейского языка и истории, учреждение культурно-просветительных органов, а также и эмиграция евреев в Палестину — совершались с ведома и разрешения этой комиссии. С ведома и разрешения лично Серго Орджоникидзе. Для подтверждения правдивости моих показаний я возбуждаю ходатайство и категорически требую:

1. Истребовать из архивов Наркомпроса и Наркомзема, а также из отдела НКВД — все документы и материалы, относящиеся как к проведению всех вышеупомянутых мероприятий, так и к организации эмиграции грузинских евреев.

2. Запросить Вану Стуруа, Миха Цхакая и особенно Серго Орджоникидзе об обстоятельствах эмиграции грузинских евреев в 1925 году.

Ходатайство подсудимого Д.Баазова произвело впечатление взрыва бомбы в зале...

Прокурор охрип от крика: "Наглость преступника!.. Требуется допросить соратников Великого Вождя!.. Как он смеет?! Отказать, отказать!"

Члены суда явно растеряны. С нескрываемым гневом председательствующий вскакивает и, вспомнив, уже стоя, спрашивает мнение защиты.

Защита поддерживает ходатайство.

Председательствующий объявляет перерыв на 1 час и исчезает вместе с прокурором.

Всем ясно: они пошли докладывать наверх о неслыханно дерзком ходатайстве подсудимого Баазова и получить указание, как реагировать на него.

В отличие от военных трибуналов, где почти все работники русские, в Верховном Суде Грузии трудно удерживать в тайне все происходящее за закрытыми дверями. Грузин не может не поделиться с близким о слышанном или виденном. И вот суматоха, поднявшаяся в зале в связи с ходатайством подсудимого Баазова, уже обсуждается в кулуарах Верховного Суда.

Друзья не скрывают своего восторга и восхищения поведением Баазова. Многие удивлены, но не смеют обсуждать с кем-либо происходящее и непонятное им. Есть и такие, которые возмущаются наглостью "врага". Но таких очень мало.

В адвокатскую комнату входит адвокат Робидон Каландадзе. Он садится отдельно в углу, спиной ко всем, и молча курит одну папиросу за другой. К нему подсаживается один из адвокатов, его однофамилец и односельчанин. Он пытается узнать, какое впечатление произвело на того происходящее в зале.

— Робидон, что скажешь о нем?

Робидон долго молчит, курит и кашляет, потом, как бы для себя, говорит:

— Да-а, умный человек!

Снова молчит, кашляет и курит. И вдруг смеется своим, всем нам хорошо знакомым иезуитским смехом и опять, как бы для себя, произносит:

— Зачем ему защита?! Зачем ему Алексей и Дмитрий?! — И, хихикая, выходит из комнаты.

Никто не мог понять, что именно хотел сказать Робидон. Но всех поразило отсутствие желчи в голосе и тех эпитетов, без которых он никогда не умел разговаривать о преступниках даже после того, как из грозного судьи превратился в адвоката.

Проходят часы, заседание не возобновляется. Обстановка накаляется. Нервозность публики усиливается. Все понимают: в эти минуты где-то решается судьба процесса.

Мрачные предчувствия, охватившие меня еще до начала процесса при появлении профессора Кипшидзе, усиливаются. День подходит к концу. По распоряжению старшего секретаря Верховного Суда конвой увозит заключенных.

Утром, 26 марта, открыв заседание, председательствующий огласил постановление судебной комиссии:

— Ходатайство подсудимого Баазова за необоснованностью — отклонить!

Продолжается допрос.

Председательствующий:

— Расскажите о ваших связях с фашистами.

Подсудимый Баазов:

— Это обвинение чудовищно!

Председательствующий:

— Об этом показал на следствии ваш старший сын — Герцель.

(Как всегда, при упоминании имени Герцеля, голос его дрогнул) :

— Дайте мне очную ставку с моим сыном.

Прокурор:

— Ваш сын осужден и сослан.

Подсудимый Баазов:

— Дайте мне показания, написанные им собственноручно.

Прокурор:

— В деле имеются копии его показаний. Может быть, вы не доверяете органам? Или обвиняете следствие в составлении ложных протоколов допроса вашего сына?

Подсудимый (почти вопит) :

— Где я нахожусь? В советском суде? Кому пришла дикая мысль обвинить меня в связи с врагами моего народа, людоедами, преследователями гениальных сынов еврейского народа, жаждущими крови моих детей? За что? Почему?.. Скажите!.. Объясните!

Он обращается к прокурору, председательствующему, к заседателям и к сидящим в зале работникам суда и прокуратуры. А в голосе слышно столько трагизма и печали, что зал, кажется, на мгновение оцепенел.

Председательствующий, поняв, что его вопросы о связи отца с фашистами не дали желаемого результата, круто повернул допрос и принялся за других подсудимых.

В течение последующих двух дней допросили д-ра Рамендика, д-ра Гольдберга и бывшего директора 103-й русско-еврейской школы Пайкина. Ни один из них в предъявленном ему обвинении виновным себя не признал. Не отрицая дружеских взаимоотношений с подсудимым Баазовым в течение многих лет, они решительно отрицали какую-либо преступную связь с ним или участие в подпольной сионистской организации, а также всякую агитацию и пропаганду против Советской власти.

Показания Рамендика, Гольдберга и Пайкина Д.Баазов полностью подтвердил.

Как и следовало ожидать, несколько иную линию занял подсудимый Рафо Элигулашвили. Лишь иронией судьбы можно было объяснить, что Элигулашвили оказался рядом с отцом на скамье подсудимых по обвинению в сионизме.

В середине 20-х годов родители Р.Элигулашвили с детьми переехали из Кутаиси в Тбилиси. Как все передовые молодые люди в тот период времени, Рафо — почти еще мальчик — вместе со своим старшим братом Венямином появился в окружении отца и Герцеля. Будучи одноклассниками, Хаим и Рафо быстро сдружились, вместе учились и вместе поступали в университет. Венямин же держался ближе к Герцелю и вступил в основанную им тогда корпорацию "Авода".

Но вскоре, через один-два года, Рафо вступил одним из первых грузинских евреев в комсомол, оказался в первых рядах борцов против "национализма и фашизма" на еврейской улице, против Баазовщины.

В 1926-1928 годах яростную борьбу за уничтожение еврейского духа и "ниспровержение авторитета Баазова" вел зав. отделом агитпропа ЦК партии Грузии армянин Питоев, органически ненавидящий евреев.

Немалая заслуга рядом с Питоевым принадлежит и Рафо в ликвидации еврейских культурных учреждений.

Обладая редкими способностями подниматься по партийной лестнице, Рафо стал быстро занимать одно за другим ответственные положения. В 30-х годах, после Маркмана, он назначается председателем президиума ГрузОЗСТ, а к моменту ареста он занимал пост Закавказского уполномоченного Внешторга СССР.

Сейчас, на процессе, оскорбленный до глубины души в своих партийных чувствах, Р.Элигулашвили резко отмежевывается от Баазова, утверждая, что он еще с юности боролся против него. В качестве доказательства своей правоты он перечислял все свои заслуги в борьбе против влияния Баазова на еврейские массы. Что у него общего с раввином Баазовым? Он воспитанник партии и предан ей душой и телом.

Да, в этом он был прав. Ничего между ними общего не было!

Но, видимо, кому-то наверху, кто хотел убрать его с глаз, пришла циничная мысль: его, как еврея, подшить к "еврейскому" делу.

Защитник Элигулашвили — умный и опытный адвокат Амирагов, — понимая хорошо, какой опасностью чревато обострение противоречий между подсудимыми, повел защиту тактично и доказывал, что в действиях подсудимых вообще нет состава какого-либо преступления.

Никто, конечно, не знал таинственного механизма арестов. Но к концу 1938 года в Тбилиси считали закономерным аресты видных, талантливых и выдающихся личностей. Уже перестали удивляться и не спрашивали, почему взяли того или другого. Удивляло и казалось странным, почему не взяли того или другого из числа выдающихся личностей. Дошло даже до того, что люди стали с подозрением смотреть на многих потенциальных кандидатов и втихомолку доверяющие друг другу шептались: "Значит, у него совесть не чиста", хотя никто не смог бы ответить, за что их должны посадить.

К примеру, неразгаданной загадкой для многих был патриарх грузинской адвокатуры Шалва Месхишвили. По происхождению дворянин, сын прославленного и любимого народом артиста Ладо Месхишвил (чье имя носит сегодня Кутаисский государственный драматический театр), он в прошлом в правительстве независимой Грузии был министром юстиции, а после советизации Грузии благодаря своим блистательным дарованиям стал создателем и лучшим представителем грузинской адвокатуры и адвокатской школы. И вот люди удивлялись: каким образом после разгрома подавляющего большинства старшего поколения адвокатуры и многих молодых, выросших уже при советской власти, он остался на свободе?!

А кто мог объяснить, почему при создании "сионистского дела" Д.Баазова жребий пал на Г.Чачашвили — молодого парня, тихого и скромного работника Историко-этнографического музея евреев Грузии, который был очень далек от Д.Баазова и от всех прошлых сионистских деятелей. Впоследствии он защитил диссертацию и получил звание доктора исторических наук. Ныне он работает в Государственном этнографическом музее Грузии.

А уцелели, к счастью, действительно активные и видные сионисты в прошлом (столь активно действующие до самороспуска сионистской организации грузинских евреев).

На процессе подсудимый Г. Чачашвили категорически отрицал предъявленное ему обвинение в том, что, будучи завербованным Д.Баазовым, вступил в подпольную сионистскую организацию и вел антисоветскую пропаганду. Показание Г.Чачашвили подсудимый Д.Баазов подтвердил полностью.

Последним допрашивали Хаима. Он с предельной ясностью доказал всю несостоятельность предъявленного ему обвинения. Простым арифметическим подсчетом получилось, что тогда, когда он, по утверждению обвинительного заключения, вступил в организацию "Цейре Цион", ему было — 12 лет. (По действующему закону лица, не достигнувшие 16-летнего возраста, не подлежали уголовной ответственности по ст. 58 УК.)

Сразу же после допроса Хаима по всем коридорам и кабинетам распространился слух, что Хаим идет на полное оправдание, прокурору придется отказаться от обвинения.

Никто не знал источника этих слухов, но в тот день, когда после заседания уводили заключенных, не только адвокаты, но многие беспартийные работники, секретарши, машинистки, несмотря на грозные предупреждения конвоиров, громко кричали ему вдогонку:

— Хаим, через два дня ты будешь с нами!

После окончания судебного следствия, которое за отсутствием в деле свидетелей, каких-либо документов или других видов доказательств по сути свелось лишь к допросу подсудимых, председательствующий Убилава объявил перерыв на 1 день и предложил сторонам подготовиться к прениям.

Рано утром близкие друзья адвокаты собрались дома у Алексея. Туда же пришел и Дмитрий Канделаки. Мы обсуждали данные, полученные в результате судебного следствия.

Впервые с начала процесса я решила поделиться с товарищами своим мрачным предчувствием о возможности применения к отцу высшей меры наказания. Товарищи, в том числе и адвокаты, участники процесса, хором обрушились на меня, утверждая, что подобная возможность исключается безоговорочно. Они были правы, потому что исходили из "требований закона".

Дело в том, что отцу, как и всем остальным, было предъявлено обвинение по статьям 58-10 и 58-11 Уголовного кодекса Грузии. Статья 58-10 состояла из двух частей. Часть первая гласила:

"Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти... а равно и распространение, или изготовление, или хранение литературы того же содержания — наказываются лишением свободы сроком до десяти лет.

Часть вторая предусматривала совершение тех же действий при отягчающих обстоятельствах и влекла за собой высшую меру наказания — расстрел.

Статья 58-11 своей самостоятельной санкции не имела. Она указывала на организационную деятельность в целях совершения государственных преступлений, и наказание за него определялось по статье уголовного кодекса, предусматривающей конкретно те действия, для совершения которых была создана антисоветская организация.

В резолютивной части обвинительного заключения отцу было предъявлено обвинение по ст.58-10 без указания части.

По причине спешки, или безалаберности, или просто не считаясь с процессуальными тонкостями, следствие упустило указать, по какой части ст.58-10 обвинялся Д.Баазов.

Покорная НКВД прокуратура слепо утвердила обвинительное заключение. А обвинение было сформулирова-

но по признакам части первой статьи 58-10 (формулировка обвинения по части II полностью исключалась за отсутствием в деле необходимых для этого квалифицирующих признаков).

С точки зрения законности указанное обстоятельство категорически лишало прокурора права требовать высшую меру в отношении отца. Поэтому товарищи не разделяли моих опасений. Все были твердо убеждены, что Хаим будет оправдан. Допускали, что Давид может быть осужден — не по доказанности обвинения, а по указанию сверху. Но в худшем случае в пределах от пяти до десяти лет лишения свободы.

Спорили со мною, что, дескать, на процессе в Верховном Суде республики не пойдут на столь открытые, грубые нарушения закона. Процесс закрытый, но он прогремел по городу, да и время другое, настала перемена, кончилось Ежовское "правовое" царство.

Но какой-то внутренний голос отчаянно кричит во мне, что все, все возможно и ничего не изменилось. Вечером спешу домой подготовить маму и сестру (которые надеются и верят в освобождение отца и Хаима) к тому, что завтра, быть может, они услышат требование прокурора о расстреле отца.

Окончание в следующем номере.



Лидия ШАТУНОВСКАЯ

ЗАГАДКА ОДНОГО АРЕСТА

В 1954 году, после смерти Сталина, мой муж и я были освобождены, успев отсидеть в одиночных камерах Владимирской тюрьмы семь лет из двадцати, назначенных нам за намерение уехать в Израиль. Мы были полностью реабилитированы и возобновили свою работу. Лето 1955 года было первым, когда вся наша семья снова собралась, и мы решили провести два месяца в подмосковном санатории "Поречье" Академии Наук СССР.

В эту пору, которую Эренбург так удачно назвал порой "оттепели", люди действительно немного оттаяли после страшной зимы сталинского террора. Огромное значение имело то, что по настоянию Хрущева была проведена персональная реабилитация всех невинно осужденных, а не всеобщая амнистия политических заключенных, которую требовали Маленков, Молотов, Булганин. Это создавало реабилитированным совершенно иное общественное положение и рождало веру в то, что правительство искренне стремится исправить прежние несправедливости и сделать невозможным их повторение.

Поверили в это и мы, прошедшие не один круг сталинского ада. Поверили, может быть, потому, что очень уж хотелось верить во что-нибудь хорошее, а частично, быть может, и потому, что тогда мы еще не полностью изжили наши "социалистические" иллюзии. Трудно было сразу расстаться с ними, трудно было полностью осознать, что сталинщина — это не случайное извращение хорошего, Ленинского социализма, а его логическое, неизбежное развитие и завершение. Ведь даже такой большой писатель, как Солженицын, не сразу понял это и только в "Архипелаге Гулаг" сумел показать, что система террора и варварства ведет свое начало от Ленина и что она имманентна самой сущности большевизма. И к нам лишь значительно позже пришло понимание того, что всякий социализм — русского, арабского или китайского образца — это социальное рабство, экономическая нищета и культурная деградация.

Во всяком случае, в то счастливое лето иллюзий люди почувствовали себя несколько раскрепощенными. Они начали привыкать к странной для всякого советского человека мысли, что жить нужно "не по лжи", что говорить можно и нужно то, что думаешь, а не то, что предписано руководящими указаниями. Люди перестали видеть в каждом собеседнике доносчика, если не прямого агента органов государственной безопасности. Так и случилось, что я смогла узнать от одного из очень близких к Сталину людей о том, что Сталин сыграл какую-то зловещую роль в ускорении смерти Ленина.

... Санаторий "Поречье" находится вблизи старинного Звенигорода в одном из самых живописных уголков Подмосковья. Кроме главного корпуса — расширенного и переделанного особняка какого-то богатого московского купца — там тогда имелся небольшой одноэтажный старый дом, стоявший среди леса на пологом берегу Москва-реки. В нем мы и предпочли поселиться, потому что там малоллюдно, тихо и спокойно, а покой и тишина были всего нужнее нам после пережитых лет.

Как-то утром, когда я читала, сидя на террасе этого дома, в кресло против меня опустился совершенно седой человек, лицо которого показалось мне знакомым и поразило меня. Мы, прошедшие сталинские следствия, тюрьмы и лагеря, умеем распознавать друг друга по каким-то неуловимым, нам одним видимым признакам. Человек, севший около меня, долго смотрел на меня, на мою голову, тоже поседевшую в тюрьме, и наконец сказал: "Товарищ, мне кажется, что я помню ваше лицо совсем молодым и вашу голову без седины. Моя фамилия — Тройский". И я ему ответила: "Иван Михайлович! А я — Лидия Шатуновская". Так мы возобновили наше знакомство после двадцатилетнего перерыва.

В 30-е годы Тройский был главным редактором газеты "Известия". Но кроме этого своего должностного положения он был чем-то вроде комиссара по делам литературы непосредственно при Сталине. Через него Сталин получал информацию обо всем, что происходило в литературе, и через него осуществлялись связи Сталина с писателями.

В ту пору болезненная подозрительность и мания преследования еще не приняли у Сталина таких страшных форм, как впоследствии, Сталин еще не был так изолирован от всего мира и не охранялся с такими фантастическими предосторожностями. Тройский, как один из очень близких к нему людей, имел право входить к нему без доклада.

В числе прочих обязанностей на Тройского была возложена и весьма деликатная функция надзора за Горьким. Об этом посредственном писателе и весьма лицемерном, себялюбивом человеке, о той зловещей роли, которую он сыграл в разгроме русской культуры, о том, каких океанов крови стоили стране его крылатые словечки, освящавшие террор, вроде знаменитого "лес рубят — щепки летят", — обо всем этом можно и нужно было бы говорить очень много. Но здесь я хочу

лишь отметить со слов Тройского только одну черту, которая очень характерна для отношения большевиков к деятелям культуры.

Стремясь унифицировать всю культурную жизнь страны и, в частности, всю литературу, большевики создали единый Союз писателей, заменивший и отменивший все прежние творческие группировки писателей. Этому Союзу были даны и все средства для подкупа писателей — деньги, дачи, неограниченные возможности публикации, заграничные поездки и т. д.,

С течением времени, как известно, этот Союз выродился просто в некий гибрид отдела пропаганды ЦК и КГБ, презираемый всеми, кто в России еще сохранил право считаться интеллигентным человеком.

В 30-е годы, когда этот Союз только создавался, во главе его необходимо было поставить писателя с именем, ибо без своего — большого или маленького — вождя ни одна область человеческой деятельности в коммунистическом обществе не обходится. На эту роль и был выдвинут Горький.

Но, создав ему неслыханный авторитет, напечатав его сочинения фантастическими тиражами, обеспечив возможность вести в его подмосковном имении и городской усадьбе такой образ жизни, какой не снился и богатейшим помещикам, — коммунистические руководители в глубине души все же не вполне доверяли Горькому: он был интеллигентом, человеком образованным и потому для большевиков чуждым и непонятным.

Тройский и был приставлен к Горькому. Он должен был следить за тем, чтобы "великий пролетарский писатель" нигде и никогда не сбивался с официальной линии, чтобы он говорил публично поменьше глупостей и поменьше проливал слез умиления на народе.

Как и следовало ожидать, в 1937 году Тройский был арестован, объявлен "врагом народа" и провел

после этого 16 лет сначала в тюрьмах, а затем в лагерях Колымы, о которых уже написано немало. Немногие вернулись из этих лагерей, но Тройский сумел выжить. Только его железная воля и железное здоровье дали ему возможность вернуться полноценным человеком с этого, одного из самых страшных островов "Архипелага Гулаг". В суровые колымские морозы Тройский ежедневно делал на открытом воздухе утреннюю гимнастику и обтирался до пояса снегом.

В 1954 году Тройский был реабилитирован и вернулся в Москву, а несколько позже мы немало смеялись, прочитав в "Правде" заметку о том, что в Институт Мировой Литературы Академии Наук СССР направлен "для укрепления идеологической работы" старый большевик Тройский.

После того как наше знакомство с Иваном Михайловичем возобновилось, мы с ним много гуляли и обо многом друг другу рассказывали, особенно много рассказывал он мне. Как же глубоко верили мы тогда в "оттепель", если во время одной из этих прогулок Тройский, человек умный и очень осторожный, поделился со мной, беспартийной женщиной, которую он немного знал 20 лет тому назад, своими предположениями о смерти Ленина и о некоей загадочной роли, которую сыграл Сталин в ускорении этой смерти.

Когда через несколько месяцев мы встретились с Тройским в Москве, это был уже совершенно иной человек — очень сдержанный, очень осторожный и достаточно правоверный. Что было тому причиной — восстановление Тройского в рядах партийной идеологической бюрократии или изменение общего политического климата в стране, явно ощущавшийся конец "оттепели", — сказать трудно. Вероятно, имело значение и то, и другое. Но тогда, в первое лето после нашего освобождения, Тройского, как говорится, "прорвало", и он прямо поделился со мной своей уверенностью в том, что Сталин активно ускорил смерть Ленина, ибо, как бы тяжело ни был бо-

лен Ленин, пока он был жив, дорога к абсолютной диктатуре была для Сталина закрыта.

Вот что рассказал мне Иван Михайлович Тройский. В 30-е годы, когда Сталин рвался к установлению своей единоличной диктатуры, он еще считал необходимым поддерживать какие-то личные отношения с некоторыми старыми партийными работниками и с избранными представителями интеллигенции. Ясно понимая роль литературы в системе идеологической обработки народных масс, Сталин уделял особое внимание контактам с группой руководителей Союза писателей, на которых была возложена обязанность превратить русскую литературу в придаток советской пропаганды и внедрить социалистический реализм как единый и общеобязательный метод художественного творчества. Поскольку же дружеские контакты в советской России на всех уровнях осуществляются чаще всего при помощи выпивок, то Сталин время от времени поручал Тройскому организовывать у него вечеринки для этой писательской элиты с обильной выпивкой и отменной кулинарией. В такой обстановке и общался вождь с подручными, инженерами человеческих душ.

На одной из вечеринок выпито было чрезмерно, и товарищи писатели напились до полной потери сознания. Сталин, который тогда еще был относительно молод и не так берег себя, тоже выпил слишком много. Единственным трезвым человеком в этой компании был Тройский: он находился, так сказать, при исполнении служебных обязанностей и должен был за всем следить.

Поздно ночью, когда Сталина совсем развезло, он, к ужасу Тройского, начал рассказывать присутствующим о Ленине и об обстоятельствах его смерти. Он бормотал что-то о том, что он один знает, как и от чего умер Ленин. Писатели были уже настолько пьяны, что ровным счетом ничего не поняли и не проявили никакого интереса к бормотанию Сталина.

Тройский же, будучи трезв, оценил всю опасность ситуации и принял смелое решение. Человек крупный и физически сильный, он вынес пьяного вождя в соседний кабинет и уложил на диван, где тот сейчас же и заснул.

После этого Тройский вызвал охрану. Перепившихся писателей вынесли, уложили в автомобили и развезли по домам, а Тройский просидел весь остаток ночи возле Сталина.

Особенно знаменательна была утренняя реакция Сталина. Проснувшись, он долго, с мучительным трудом вспоминал, что же произошло ночью, а вспомнив, вскопчил в ужасе и бешенстве и набросился на Тройского. Он тряс его за плечи и исступленно кричал: "Иван! Скажи мне правду. Что я вчера говорил о смерти Ленина? Скажи мне правду, Иван!" Тройский пытался успокоить его, говоря: "Иосиф Виссарионович! Вы вчера ничего не сказали. Я просто увидел, что вам нехорошо, увел вас в кабинет и уложил спать. Да к тому же все писатели были настолько пьяны, что никто ничего ни слышать, ни понять не мог".

Постепенно Сталин начал успокаиваться, но тут ему в голову пришла новая мысль. "Иван! — закричал он. — Но ведь ты-то не был пьян. Что ты слышал?"

Тройский, по его словам, почувствовал себя в смертельной опасности: в своей подозрительности и гневе Сталин был страшен. Тройский всячески пытался убедить Сталина в том, что ничего о смерти Ленина сказано не было, что он, Тройский, ничего не слышал и увел Сталина только потому, что все присутствующие слишком много выпили.

Когда Сталин начал успокаиваться. Тройский понял, что отныне вся маниакальная подозрительность Сталина будет направлена против него. И действительно с этого дня отношение Сталина к Тройскому совершенно изменилось, а в 1937 году Тройский был арестован как "враг

народа". Типичный восточный деспот, Сталин был необычайно злопамятен. Он мог отложить месть на много лет, но никогда ничего не забывал и не прощал.

В целом вся описанная выше сцена не оставила у Тройского никаких сомнений в том, что смерть Ленина была каким-то способом искусственно ускорена и что это было сделано при прямом участии Сталина.

Конечно, прямых и неопровержимых доказательств этого, таких доказательств, какие были бы необходимы суду для вынесения обвинительного приговора, нет. Да их и быть не может. Даже если когда-нибудь и будут вскрыты тайные архивы коммунистической партии и советского правительства, вряд ли историки сумеют пролить полный свет на то бездонное болото грязи и крови, которое лежит под покровом официальной советской внешней и внутренней политики. Документы уничтожались, а люди, знавшие слишком много, безжалостно истреблялись.

Однако и рассказ Тройского, и ряд косвенных соображений заставляют меня думать, что Тройский был прав в своих предположениях об обстоятельствах смерти Ленина.

Нужно прежде всего иметь в виду, что всю свою жизнь Сталин ненавидел Ленина той лютой ненавистью, какую может питать малообразованный маньяк по отношению к интеллигенту, подавляющему его своим интеллектуальным превосходством. Глубинная основа всей деятельности Сталина, дающая ключ к пониманию всего пути развития русской революции, — это стихийная, уходящая корнями в подсознательное ненависть примитивного восточного тирана ко всему разумному и человеческому. Во многом эта ненависть характерна и для всей сущности большевизма.

Об этой ненависти Сталина к интеллигенции и, в частности, к Ленину мне говорил не только Тройский. Об этом же мне много рассказывал мой покойный первый муж Яков Шатуновский — старый большевик-подполь-

щик, лично знавший и Ленина, и Сталина. Я слышала об этом и в семье Петра Ананьевича Красикова, который был одним из основателей партии и ближайшим помощником Ленина в период эмиграции.

Животная злоба Сталина против Ленина прорвалась в хорошо известном эпизоде, когда Сталин вел себя совершенно по-хамски в отношении жены Ленина Надежды Крупской. Известно, как остро реагировал Ленин на это хамство и скольких унижений это стоило Сталину. Всякий, кто хоть сколько-нибудь знает характер Сталина, его маниакальную злопамятность и обидчивость, не может сомневаться в том, что Сталин никогда не мог простить Ленину этого унижения.

Но помимо этих, так сказать, эмоциональных импульсов, у Сталина имелись и чисто рациональные основания стремиться возможно скорее убрать Ленина из числа живых и превратить его в легенду. Непререкаемый авторитет Ленина, то уважение и любовь, которые несомненно питали к нему и партийные кадры, и "революционные массы", являлись серьезным препятствием на пути Сталина к диктатуре. Как бы болен ни был Ленин, пока он был жив, он оставался символом и вождем русской революции. Занять его место Сталин мог только после его смерти. А время было горячее, исход борьбы еще не был решен, и нужно было торопиться!

И действительно после смерти Ленина Сталин скрывает его политическое завещание, в котором Ленин предупреждал партию об опасности допуска Сталина к власти. После этого он уничтожает всю старую Ленинскую партийную гвардию, устанавливает в стране режим кровавого террора и становится абсолютным диктатором, фигурируя при этом как продолжатель дела (возможно, им же убитого) Ленина. Сделать это при жизни Ленина было невозможно, а он мог прожить еще очень долго.

Смерть Ленина в 1924 году была совершенно неожиданной и для врачей, и для всех его близких. Все знали, конечно, что Ленин тяжело и неизлечимо болен, что он

частично парализован и что рассудок его угасает. Но такой быстрой и неожиданной смерти не ждал никто. Я ясно помню, какой внезапной неожиданностью явилась эта смерть для П. А. Красикова и для всей окружавшей его группы старых друзей и соратников Ленина.

Когда случается неожиданная смерть и возникает подозрение в убийстве, то первый вопрос, который задает себе следователь: " Qui prodest ? Кому это выгодно?" В данном случае был только один человек, которому была выгодна и желанна смерть Ленина, — Сталин.

Повторяю: конечно, все эти соображения — лишь косвенные доказательства вины Сталина. Но в свете того, что я слышала и от Гронского, и от моего покойного мужа, и от очень многих других людей — партийных и беспартийных, — я не сомневаюсь в том, что Иван Михайлович Гронский был прав в своих предположениях: не исключено, что в списке жертв Сталина мы должны числить и Владимира Ильича Ленина!

.....

Если бы эти строки могли попасть в руки советских читателей, то, возможно, одним из них приведенные соображения о вине Сталина показались бы достаточно убедительными, а другие сочли бы их менее убедительными. Но в чем я абсолютно уверена — это в том, что никому в Советском Союзе предположение о том, что Сталин убил Ленина, не показалось бы невозможным. Напротив, ни у кого не шевельнулось бы и тени сомнения в том, что Сталин мог сделать это.

И действительно тайное индивидуальное убийство — это испытанное орудие большевистской практики, которое применяется всегда, когда по тем или иным соображениям неудобно или невозможно применить аппарат

официального преследования и ареста. Вспомним не только Троцкого и Раскольникова, но и Кирова, Орджоникидзе, Павла Аллилуева. Вспомним Михоэлса, и известного советского психиатра Бехтерева, и многих других. И это вполне соответствует основам большевистской идеологии. Если отброшена всякая мораль — политическая и личная, если единственный руководящий принцип — "цель оправдывает средства", то чем тайное убийство отдельных людей хуже, чем "Архипелаг Гулаг" или танки на улицах Праги?

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ВИКТОР НЕКРАСОВ. Писатель, родился в 1911 году, в семье врача. В 1937 году окончил архитектурный факультет Киевского строительного института. Одновременно учился в театральной студии при Киевском театре русской драмы. Работал актером и художником в театрах Киева, Владивостока, Ростова-на-Дону. С 1941 по 1945 год был на фронте. Участник Сталинградской битвы. В 1946 году выходит первая повесть Виктора Некрасова "В окопах Сталинграда". Его повести и рассказы печатались в журнале "Новый мир" и выходили отдельными книгами. После опубликования очерков "По обе стороны океана" писатель начал подвергаться жестокому политическому преследованию, а в 1974 году после ряда обысков был окончательно исключен из КПСС.



В настоящее время Виктор Некрасов живет в Париже.

БОРИС ХАЗАНОВ. Филолог. Родился в 1927 году. Окончил Московский государственный университет. Был репрессирован и провел в советских концлагерях пять лет. По выходе из лагеря окончил еще один ВУЗ и в настоящее время работает в одном из московских учреждений. Автор ряда художественных, публицистических и философских произведений./некоторые из них были опубликованы в сборниках еврейского самиздата "Евреи в СССР"/. На Западе печатается впервые.

САВЕЛИЙ ГРИНБЕРГ. Поэт и переводчик. Родился в 1914 году. Рос, учился, работал в Москве. Был научным сотрудником Литературного музея и старшим научным сотрудником Музея В.В. Маяковского.

Прибыл в Израиль в 1973 году. Публикуемые здесь стихотворения — страницы большого цикла, над которым автор работал в течение многих лет.





ВАЛЕНТИНА СИНКЕВИЧ. Поэтесса. Родилась в 1926 году в Киеве. Выросла в городке Остер /на берегу Десны/. Оттуда была вывезена немцами на принудительные работы в Германию. До окончания войны пробыла в немецких концентрационных лагерях. Эмигрировала в Америку в 1951 году. Работает в библиотеке Пенсильванского университета в качестве каталогизатора. Издала сборник стихов "Огни".

ЛЕВ ТУМЕРМАН. Физик, профессор института имени Вейцмана. Родился в 1898 году в Бердичеве. Окончил Московский государственный университет. С 1934 года работал в Академии Наук СССР, сначала в Физическом институте, а с 1959 года — в Институте молекулярной биологии, где руководил лабораторией биоэнергетики. Был профессором Московского университета. Высшего технического училища имени Баумана и других ВУЗов. Опубликовал около ста научных работ в области оптики и физико-химической технологии. Работал в качестве редактора Большой Советской Энциклопедии, главным редактором научно-популярного журнала "Наука и жизнь", В 1947 году был арестован по обвинению в сионистской деятельности и приговорен к 20 годам тюрьмы за намерение уехать в Израиль. В течение семи лет находился в одиночной камере во Владимирской тюрьме.

Репатриировался в Израиль в 1972 году.



ПАТЕР ЭЛИАС / в миру Джейкоб Хорэс Фридмен /. Родился в 1916 г. в Кейптауне / Южная Африка / в бедной семье. В детстве учился в музыкальной школе, а потом на медицинском факультете Кейптаунского университета, в 1938 году получил диплом врача. Во время Второй мировой войны служил в южноафриканских частях Союзной Армии, был военным врачом. В 1943 году принял католичество, а в 1947 году в Лондоне вступил в орден кармелитов, после чего изучал богословие и философию в Ирландии и во Франции. В ордене принял имя патера Элиаса.

В 1954 году приехал в Израиль и поступил в Монастырь "Стелла Марис" в Хайфе, где и живет до сих пор. Патер Элиас — ученый богослов, историк, поэт и переводчик. Он опубликовал книги "Освобождение Израиля", "Католическая епархия Иерусалима", сборник стихов "Во славу ночи". Книга "Сущность еврейства", из которой приводится в некотором сокращении первая часть, опубликована в 1974 году.

НАТАЛИЯ РУБИНШТЕЙН. /См. второй номер журнала/,

ФАИНА БААЗОВА. /См. четвертый номер журнала/.

ЛИДИЯ ШАТУНОВСКАЯ (ТУМЕРМАН). Театровед. Родилась в 1906 году. Училась и работала в Москве с 1922 года. Окончила Государственный институт театрального искусства. Работала в качестве театрального критика в советских театральных журналах. Была литературным редактором в различных издательствах.

Вскоре после войны была арестована органами МГБ по сионистскому делу и приговорена к 20 годам тюрьмы. Освобождена после семи лет одиночного заключения в условиях абсолютной изоляции от внешнего мира.

Прибыла в Израиль в 1972 году.



DIGEST OF FIFTH ISSUE OF «VREMIA I MI» («TIME AND WE»)

VICTOR NEKRASSOV . Communist Yufa's Personal Record.

This short story written by one of the best writers of modern Russia tells a story of a Soviet Jew who applied for exit visas for his son and himself to move to Israel. The author vividly describes the atmosphere in which his protagonist lives from the day of his application to the day when he is allowed to leave, as well as the attitudes of the people around him.

BORIS KHAZANOV In a Wild and Dense Taiga. Khazanov's short story depicts the everyday life of inmates of a prison camp in taiga (swampy coniferous forest of Siberia) in Stalin's time. Vividly, and with a deep insight, the

author shows the world of barbarity and inhuman atrocities, which reduces both inmates and their guards to becoming wild beasts rather than human beings.

SAVELY GREENBERG. Poems.
Greenberg is a poet who writes in modern traditions.

VALENTINA SIENKEWICZ. Poems.
The poetess's main theme is man's solitude in the modern world.

LEONID ARONSON. Poems
Aronson's lyrics are written in the traditions of Russian poetry of the turn of this century.

LEV TUMERMAN. Israel : Europe or Asia ?
This essay treats the problem of Israel's place in modern civilization. The author focuses his attention on the question of whether Israel will become a secular state based on European values or a religious society rooted in medieval and ancient Asian traditions.

PATER ELIAS. Jewish Identity.
Pater Elias is a Catholic monk and a member of the community of « Stella Maris» monastery in Haifa. This essay is abridged from his book of the same title ; the author surveys the history of the question of who is and who is not a Jew and confides 'to the readers his ideas on the matter of Jewish identity in Diaspora and in the State of Israel, as well as on the means of preserving Jewish national identity for the fulfilment of the Jews' providential role as the Chosen People.

FAYINA BAAZOVA. The Lepers (Continuation; cf. Vremia i mi, No 4)

NATALIA RUBINSTEIN. Without Pen-names or Make-ups.
The author discusses the role of Jews in Russian Soviet literature, as well as that of Jewish writers in the literature of Russian emigration ; the process of fixing the boundaries between Russian and Russian-Jewish emigre writers is described.

LIDIA SHATUNOVSKAYA. The Mystery of an Arrest.
This study discusses the mysterious arrest of Ivan Gronsky a former editor-in-chief of the Soviet newspaper «Izvestia», who was unlucky enough to become an involuntary witness of Stalin's enigmatic confession concerning some circumstances which had caused Lenin's death.

Подписывайтесь на ежемесячный журнал литературы и общественных проблем "Время и мы". В ближайших номерах — повесть Бориса Хазанова "Час короля" и рассказ "Страх", отрывки из книги Фаины Баазовой "Прокаженные" (окончание), неопубликованные главы из книги Ю. Марголина "Путешествие в страну Зэка", новые переводы израильских и зарубежных поэтов, критические заметки Наталии Рубинштейн, статьи рабби Адина Штейнзальца и доктора Вадима Меникера.

УСЛОВИЯ подписки
В ИЗРАИЛЕ

на 3 месяца — 49 лир 50 аг.
6 месяцев — 99 лир.
9 месяцев — 148 лир 50 аг.
12 месяцев — 198 лир.

Цена номера в открытой продаже - 22 лиры 50 аг.

В США И КАНАДЕ

сроком на 6 месяцев -19.60 Б
на 12 месяцев 39.20\$

Цена номера в открытой продаже - 4.5 \$

ВО ФРАНЦИИ

сроком на 6 месяцев — 78 F.FR.
на 12 месяцев - 156 F.FR.

Цена номера в открытой продаже -19 F.FR.

В ГЕРМАНИИ

сроком на 6 месяцев -46 DM
на 12 месяцев - 92 DM

Цена номера в открытой продаже - 10 DM

цифры говорят

Выдержка из сводного баланса*) на 31 декабря 1975

	1975 лпр	1974 лпр	Измене- ния в %
Сумма баланса	25.179.811.446	18.483.116.327	+ 36,2
Вклады (в т. ч. вклады для выдачи ссуд)	20.999.106.840	15.842.278.659	+ 32,6
Вклады населения	14.182.281.287	11.186.316.489	+ 26,8
Наличные и остатки в банках	9.278.718.642	7.325.807.514	+ 26,7
Ссуды (в т. ч. ссуды за счет вкладов для выдачи ссуд)	7.874.401.525	5.981.868.351	+ 31,6
Ссуды за счет средств банка	3.988.768.296	3.078.432.444	+ 29,6
Денежные средства (капиталы)	649.756.337	493.324.665	+ 31,7
Чистые операционные прибыли без вычета налогов	236.040.569	138.841.840	+ 70,0
Отчисление налогов	152.713.853	72.185.507	+ 111,5
Чистые операционные прибыли за вычетом налогов и прав меньшинства	71.104.782	58.218.989	+ 22,1
Разовые прибыли	3.081.380	18.007.005	- 82,9
Чистая прибыль за вычетом налогов	70.911.279	74.254.699	- 4,5

*) Включая следующие банки: «Банк Баркалайт Дисконт» ЛТД, «Банк Мер-
каптал Ле-Израэль» ЛТД, «Банк Легиуах умешкантаот Ле-Израэль» ЛТД.

ISRAEL DISCOUNT BANK LTD.



ЭТА ЭМБЛЕМА,

КОТОРУЮ ВЫ ВИДИТЕ НА ОТДЕЛЕНИИ БАНКА РЯДОМ С ВА-
ШИМ ДОМОМ ИЛИ МЕСТОМ РАБОТЫ, ЯВЛЯЕТСЯ ЭМБЛЕМОЙ

ПЕРВОГО И КРУПНЕЙШЕГО БАНКА
ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ

Банк Леуми существует в стране свыше 70 лет, он был
создан прорицателем нашего государства д-ром Теодором
Герцлем. Банк Леуми также большой международный
банк. К вашим услугам 338 отделений Банка Леуми в Из-
раиле и во всем мире.

Банк Леуми предлагает вам все услуги, которые только
может оказать современный банк.

Здесь ваши деньги находятся в надежных руках и дают
вам прибыль по 11 разным вариантам сбережения и стра-
ховых касс. Один из этих вариантов безусловно отвечает
вашим потребностям и возможностям.

Вы заинтересованы в дополнительных подробностях?
Просите в нашем ближайшем отделении или пришлите нам
приложенный талон. У нас имеются проспекты о всех на-
ших вариантах сбережения и пенсионных кассах также на
РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

БАНК ЛЕУМИ ЛЕИСПРАЭЛЬ Б.М.

Bank leumi  **בנק לאומי**
LE-ISRAEL B.M. **לישראל ב.מ.**

----- Заполняйте и пришлите нам прилагаемый
талон -----

- Прошу выслать мне проспект с подробностями о
- страховых кассах
- вариантах сбережений
- карманный словарь иврит-русский на сто слов.

Фамилия

Адрес

"РУССКАЯ МЫСЛЬ"

"LA PENSEE RUSSE"

"Русская Мысль" — самая большая еженедельная газета на Западе. Она выходит в Париже, каждый четверг, на 16 страницах среднего формата и предлагает своим читателям широкий обзор международных событий, статьи о вопросах религии и философии, о науке, литературе и искусстве, интересные архивные материалы, документы о жизни в СССР.

"Русская Мысль" — не только звено, объединяющее старую и новую эмиграцию, не только голос, доходящий до России, и голос России на Западе, но и окно, открытое на Запад...

Все, кто интересуется русским вопросом, читают

"РУССКУЮ МЫСЛЬ"

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР - ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ

Адрес редакции и конторы:

"LA PENSEE RUSSE"

217, Rue du Faubourg St. Honore, 75008 Paris, France.

Tel. 227-05-79 766-21-83 924-94-47

Оплата подписки по ССР 5883-44 — Paris или чеком.

Подписная плата для ИЗРАИЛЯ

Простой почтой

12 мес.	130 франков
6 мес.	70 франков
3 мес.	39 франков

Воздушной почтой

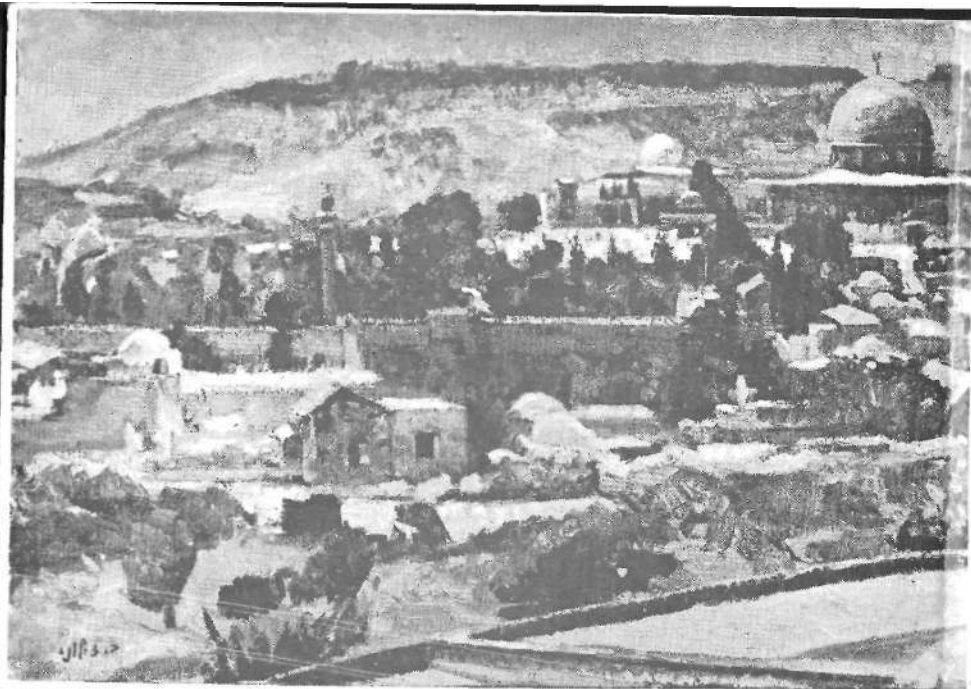
12 мес.	170 франков
6 мес.	88 франков
3 мес.	49 франков

Цена отдельного номера IL. 2.75

MONTHLY "TIME AND WE" Tel 03-295852
Ibn Gvirol ST., 23/6. Tel-Aviv. Israel. P.O.B. 24123 Tel-Aviv

Издательство "Время и мы", Тель-Авив, ул. Ибн-Гвириоль, 23/6
п. я. 24123, Тель-Авив.

Тел. 03-295852.



Борис Зеленый. Иерусалим.

